VISIT…

LANZAROTE Caliente.COM

Мир. Хаос. Порядок

Иммануил Валлерстайн

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ

И. Валлерстайн ИСТОРИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ

СЕРИЯ

МИР. ХАОС. ПОРЯДОК

Направления-программы:

Махиология
Системология
Историология
Идео-логия
Конспирология
Персонология
Энигматика

Редакционный совет серии:

С.В. Волков
К.Г. Михайлов
А.И. Фурсов (координатор)
В.Ю. Царев

© Идея, название и концепция серии
и названия направлений-программ, А.И. Фурсов, 2005

IMMANUEL WALLERSTEIN

HISTORICAL CAPITALISM *WITH* CAPITALIST CIVILIZATION

London and New York
Verso * 1995

Перевод с английского К.А. Фурсова
Предисловие, послесловие, научное редактирование А.И. Фурсова

ИММАНУИЛ ВАЛЛЕРСТАЙН

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Товарищество научных изданий КМК
Москва ❖ 2008

Серия
МИР. ХАОС. ПОРЯДОК

Направление-программмма
СИСТЕМОЛОГИЯ

И. Валлерстайн. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. — 176 с.

Всемирно известный американский ученый Иммануил Валлерстайн — отец-основатель мир-системного анализа, автор трёхтомника «Современная мир-система», целого ряда других книг и огромного количества статей. Директор Центра Фернана Броделя по изучению экономик, цивилизаций и исторических систем (Бингемтон, штат Нью-Йорк, США) в сжатом виде излагает свои взгляды на капиталистическую систему. И. Валлерстайн анализирует экономическое функционирование капиталистической системы, роль государства в накоплении капитала, роль научной культуры в качестве мощного социального оружия «сильных мира сего». Особое внимание уделено различным мифам капиталистической системы (о прогрессе, меритократии и т.д.), показан механизм действия идеологического тандема «расизм — универсализм». И. Валлерстайн, кроме того, предлагает «балансовый отчёт» достижений и провалов капиталистической цивилизации, а также анализ тех внутренних дилемм, которые исторический капитализм не способен решить и которые уже подвели его к краю пропасти.

Книга рассчитана не только на специалистов, но и на широкий круг читателей, интересующихся социологией, экономикой, политикой, короче — судьбами современного мира.

© К.А. Фурсов, перевод, 2008
© А.И. Фурсов, предисловие, 2008

ISBN 978-5-87317-504-8

© Т-во научных изданий КМК, издание, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

А.И. Фурсов. Капитализм сквозь призму мир-системного анализа (о работах Иммануила Валлерстайна и мир-системном анализе) 6

ИММАНУЛ ВАЛЛЕРСТАЙН. ИСТОРИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ. КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 73

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ

Введение 74

ГЛАВА I. ТОВАРИЗАЦИЯ ВСЕГО: ПРОИЗВОДСТВО КАПИТАЛА 76

ГЛАВА II. ПОЛИТИКА НАКОПЛЕНИЯ: БОРЬБА ЗА ПРЕИМУЩЕСТВА 98

ГЛАВА III. ИСТИНА КАК ОПИУМ: РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 117

Заключение: о прогрессе и переходах 131

КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЁТ 141

Четыре Всадника Апокалипсиса, или базовые потребности 142

Качество индивидуальной жизни 148

Качество коллективной жизни 152

Cui bono и зачем спорить? 157

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ 159

Дилемма накопления 159

Дилемма политической легитимации 164

Дилемма геокультурной повестки дня 167

Кризис исторической системы 170

АНДРЕЙ ФУРСОВ

КАПИТАЛИЗМ СКВОЗЬ ПРИЗМУ МИР-СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

(О РАБОТАХ ИММАНИУЛА ВАЛЛЕРСТАЙНА И МИР-СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ)

Иммануил Валлерстайн

Тридцать лет назад, в далёком 1978 г. на страницах введения к замечательной книге Джима Скотта «Моральная экономика крестьянина» я встретил поразивший моё воображение термин — «современная мир-система» (*modern world-system*). В термине «мир-система» заключалась притягательная сила, причём не только интеллектуальная, но и эмоциональная. В нём фиксировалась трактовка современного мира как системы.

«Современная мир-система» — так называлась книга, опубликованная в 1974 г. Иммануилом Валлерстайном, — имя тогда мне ничего не говорило. Точнее, был опубликован первый том проекта «Современная мир-система», название тома — «Капиталистическое сельское хозяйство и происхождение европейской мир-экономики в XVI веке»[1]. Я достал книгу, залпом прочёл её и начал искать всё, что было связано с мир-системным анализом (далее — МСА) и его критикой.

Тогда я ещё не знал, что первый том «Современной мир-системы» принёс её автору премию Питирима Сорокина, восторженные отзывы одних (в частности, Фернана Броделя, Эрика Вольфа, А.Г. Франка) и жёсткую критику со стороны других (Р. Бреннер, А. Зольберг), что этот том стал фундаментом целого нового направления в социально-исторических исследованиях. В 1980-е годы я освоил целый пласт мир-системной и околомир-системной литературы, а в 1989 г. познакомился с самим Валлерстайном, и с тех пор судьба несколько раз сводила нас — я работал в его Центре изучения экономик, исторических систем и цивилизаций (1990 г., Бингемтонский университет, США); принял участие в руководимом Валлерстайном крупном международном проекте по методологии социальных и исторических наук

[1] *Wallerstein I.* The Modern World-System. — N.Y. etc.: Acad. Press 1974. — Vol. 1. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. — XVI, 410 p.

(1993–1994 гг., США – Франция); мы неоднократно встречались на международных конференциях.

Со временем, уже в начале 1990-х годов мои восторги по поводу МСА и его возможностей существенно умерились, тем не менее я продолжаю считать, что МСА — одно из ярких интеллектуальных достижений последней четверти XX в., причём как своими успехами, так и неудачами. Это не просто сфера исследований, а научная программа, эпистемологическое поле. Другое дело, что МСА так и не превратился в отдельную целостную дисциплину наряду с социологией, экономикой и политической наукой, как это первоначально задумывалось его «генеральным конструктором» и как это явствует из интеллектуального дизайна первого тома «Современной мир-системы», и содержание этого тома в значительной степени реализует этот замысел. Со вторым и в ещё большей степени третьим томами дело обстоит сложнее: в них программно заявленное целостное исследование распадается на сумму анализов — экономического, социального и политического. И критики не преминули зафиксировать эту тенденцию.

Однако конкретная и частная неудача воплощения «большого замысла», если согласиться с оценкой критиками второго и третьего томов «Современной мир-системы», не отменяет большого эвристического значения и высокой оценки школы МСА в целом, МСА как подхода, который отличается от подходов других дисциплин прежде всего базовым объектом исследования. А он действительно необычен. Это не рынок как в экономике, не гражданское общество как в социологии, не политика и государство как в политической науке. Это мир, взятый как система, т.е. мир-система — И. Валлерстайн принципиально настаивает на дефисе и резонно требует его сохранения при переводе с английского языка на другие.

Насколько мне известно, американский ученый планировал пятитомник, который собирался завершить к 2000 г. Однако человек предполагает, а судьба располагает. Если первый том «Современной мир-системы» И. Валлерстайн написал за год, то на второй том ушло шесть лет (1980), а на третий, завершающийся 1840-ми годами — девять (1989). Четвёртый и пятый тома, публикация которых была запланирована автором к 2000 г., до сих пор не появились и неизвестно, появятся ли. Однако это едва ли можно поставить в вину автору. Во-первых, его замысел грандиозен — мировая история как целостность с «длинного» (1453–1648 гг.) XVI века по наши дни. Во-вторых, история не вообще, а капиталистической системы; история, излагаемая на основе новой оригинальной методологии (другое дело, насколько сильна методология и насколько Валлерстайну удалось реализовать её потенциал, насколько он в ходе конкретного исследования остался верен своей методологии и насколько ему удалось выдержать эпистемологический холизм). В-третьих, отец-основатель мир-системного подхода за тридцать с лишним

лет, прошедших с выхода в свет первого тома «Современной мир-системы», написал не только еще два тома, но и огромное количество статей и книг. В-четвёртых, за несколько десятилетий Валлерстайн провел огромную научно-организационную работу. В Бингемтонском (Нью-Йорк) университете он создал Центр Фернана Броделя по изучению экономик исторических систем и цивилизаций, директором которого был в течение длительного времени. Центр реализует различные научные проекты мир-системного характера и издаёт ежеквартальник «Review». Наконец, в-пятых, Валлерстайн тратил очень много времени на популяризацию своей системы, читая лекции не только в Бингемтонском университете и США, но и по всему миру. И. Валлерстайн — «мир-системный профессор».

И. Валлерстайн — далеко не кабинетный учёный. Это политически ангажированный и политически активный человек, который занимает ясную позицию и не скрывает её. Автор «Современной мир-системы» в 1968–1969 гг. принимал активное участие в студенческих волнениях в Колумбийском университете (США), после чего ему вплоть до середины 1970-х годов пришлось работать в Канаде, пока первый том «Современной мир-системы» не принес ему всемирную известность. Впрочем, каждая потеря есть приобретение и каждое приобретение — потеря. Политическая ангажированность далеко не всегда способствует адекватным научным выводам и оценкам. В любом случае, Иммануил Валлерстайн как учёный и мыслитель сформирован «длинными шестидесятыми» (1958–1973 гг.) с их надеждами и иллюзиями, их революционностью и реакционностью, их плюсами и минусами. Он сформирован этим временем, и иногда мне кажется, что в целом ряде своих оценок и выводов по поводу того, что произошло с тех пор, в какой-то степени остался в этом времени.

Итак, И. Валлерстайн создал новую сферу исследования, базовая единица анализа которой — мир в целом, мир-как-система, мир-система. Именно мир, а не государство, рынок или гражданское общество. МСА конституируется по поводу качественно принципиально иного объекта, чем конвенциональные социальные дисциплины. Поэтому МСА — это не социология, не экономическая теория, не политическая наука, а... МСА, сами принципы конструирования которого суть отрицание традиционного для сформировавшейся в XIX в. науки об обществе жёсткого деления на экономику, социологию, политологию. Это разделение является, по справедливому мнению И. Валлерстайна, наследием XIX в., которое необходимо преодолеть, переосмыслить, осмыслить заново (показателен глагол, используемый И. Валлерстайном в данном контексте: не *rethink*, а *unthink*). Правда, сам И. Валлерстайн порой нарушает логику заявленного им подхода-преодоления, и вместо системного, целостного образа социальной реальности мы получили суммарно-мозаичную. Впрочем, это уже противоречие между методом и си-

стемой в работах американского учёного. Главное, однако, в принципиальном подходе, направленном на преодоление тех ограничений, которые имманентно присущи западной, т.е. буржуазной науке об обществе, и составляют одновременно её силу и слабость.

«Буржуазная наука» — это в данном случае, разумеется, не ярлык, а конкретно-констатирующий термин. Он фиксирует некую систему знания, которая дисциплинарно и понятийно отражает реальность ядра буржуазного общества середины XIX — большей части XX в. с характерным для этой пространственно-временной зоны взаимообособлением власти и собственности, государственности и классовости, экономики, политики, гражданского общества. И всё хорошо, пока с помощью такого дисциплинарно-понятийного инструментария анализируется само это общество — европейское, на определённой стадии капиталистического развития. Ну а как быть со структурами, где власть и собственность не обособились друг от друга? Где нет иного «класса», чем «государство», а следовательно, нет ни государства, ни класса? Где нет гражданского общества? Это — за пределами Европы и капитализма. Но есть проблемы с применением современной социальной науки и по отношению к капитализму. Не случайно нет целостной науки о капитализме как системе, чего-то вроде «капитализмоведения». Попытку создания такой науки предпринял К. Маркс, однако по целому ряду причин она не увенчалась успехом, и его макротеория во многом так и осталась недостроенным зданием[1].

В объектив современной науки об обществе не помещается не только капитализм в целом, но и мир в целом. Пытаясь противопоставить МСА как новую целостную «дисциплину» современной конвенциональной науке, И. Валлерстайн, по сути, повторяет — в других условиях и на другой основе — попытку К. Маркса.

Эти попытки представляются симметричными во времени. Маркс писал «на входе» западного общества в «реальный капитализм» или, выражаясь языком Маркса, в капитализм как формацию, т.е. в социальную форму, обладающую адекватной производственной базой (индустриальные производительные силы); правда, осмысливал он капитализм в целом с позиций эпохи конца XVIII — первой половины XIX в. Эта эпоха, начавшаяся Великой французской революцией и окончившаяся революцией 1848 г., была, строго говоря, введением в эпоху капитала, но ещё не эпохой самого капитала. Как заметил К. Поланьи, в период 1790–1830-х годов в Англии — стране, которая стала основой для выводов Маркса, это было время, которое невозможно объяснить в рамках одной теоретической схемы, поскольку оно ха-

[1] Подробнее см.: *Фурсов А.И.* «Биг Чарли», или О Марксе и марксизме: эпоха, идеология, теория (к 180-летию со дня рождения К. Маркса) // Русский исторический журнал. — М., 1998. — Т. 2, № 2. — С. 335–429.

рактеризовалось взаимодействием рождающейся рыночной экономики и патерналистского антикапиталистического регулирования[1], призванного блокировать возникновение рынка рабочей силы.

Иными словами, теория капитализма Маркса разрабатывалась им на основе осмысления такого периода, который не был капиталистическим в строгом смысле слова. Отсюда — ряд ошибочных выводов Маркса, его установки на революционные изменения, но в то же время — его методологический холизм. Однако эпоха «капиталистического предкапитализма» ушла, и марксизм Маркса остался одним из самых заметных памятников — не только капитализму, но и этой эпохе. В известном смысле, теоретико-методологически Маркс пришёл слишком рано и в то же время слишком поздно. Он попал в ту же ловушку, что и Мальтус, сформулировав некие долгосрочные закономерности на основе таких среднесрочных закономерностей, которые к моменту их фиксации уже затухли. Это — помимо того, что Маркс порой видел капиталистические тенденции в том, что на самом деле было результатом взаимодействия капитализма и антикапитализма. Впрочем, и Валлерстайн порой совершает аналогичные зеркальные ошибки, определяя в качестве содержательно капиталистического нечто, таковым не являющееся.

В свою очередь, И. Валлерстайн пишет «на выходе» западного общества из «реального» (или, выражаясь валлерстайновским языком, «исторического») капитализма. «На выходе» не означает ни того, что капитализм умрёт завтра, ни того, что с капитализмом умрёт современный Запад, который, впрочем, уже в значительной степени превратился не только в постзападное, но и в постхристианское общество. В конце XX в. возникла научно-техническая (информационная) система производительных сил. И хотя она не вытеснила индустриальную, а надстроилась над ней, хотя восторги по поводу возможностей «новой экономики» оказались во многом преждевременными, сам факт существования если не пост-, то гипериндустриального производства, в котором невещественные («нематериальные»), информационные факторы господствуют над вещественными, крайне важен. Научно-техническая система производительных сил, снимая главное — социоэкзистенциальное, моторно-историческое — противоречие капитализма, противоречие между субстанцией и функцией, ставит под угрозу основные институты и ценности капитализма: частную собственность, национальное государство, гражданское общество, *privacy* и т.д.[2]

Маркс и Валлерстайн с разных концов замыкают эпоху, начавшуюся революцией 1848 г. и окончившуюся — нет, не «всемирной революцией 1968 г.,

[1] *Polanyi K.* The Great Transformation: the Political and Economic Origins of Our Time. — Boston: Beacon Press, 1944. — P. 125.

[2] Подробнее об этом см.: *Фурсов А.И.* Колокола Истории. — М.: ИНИОН РАН, 1996. — 461 с.

о которой пишет Валлерстайн, а всемирной/глобальной неолиберальной контрреволюцией 1980-х годов; новолевая «революция 1968–1971 гг., завершившая «длинные шестидесятые» (1958–1973 гг.), была если не репетицией неолиберальной, неоправой контрреволюции, то прологом к ней. По-видимому, симметричность времебытия двух этих учёных обусловила определённое типологическое, по принципу конструкции, сходство двух попыток создания ни много, ни мало альтернативной системы рационального знания. Конечно же, есть и различия. Маркс опирался на английскую, французскую и немецкую традиции, прежде всего — на немецкую теоретическую. За плечами Валлерстайна англосаксонский прагматизм и отчасти школа «Анналов»; обе эти традиции далеки от утончённой теории[1], а потому я отдаю предпочтение попытке Маркса как более общей фундаментальной, комплексной, внутренне логичной и содержательной. По сравнению с ней мир-системная перспектива кажется мне упрощённой, менее многомерной и, пожалуй, более сырой — но это особая тема. Это, однако, ни в коей мере не умаляет значение интеллектуальных достижений И. Валлерстайн как учёного. В том, что в конце XX в. мы смотрим на мир по-новому, есть его заслуга — и немалая.

Ещё одно различие между ситуациями Валлерстайна и Маркса заключается в том, что последний в своём времени, в XIX в. в интеллектуальном, теоретическом плане, по сути, остался одиночной. Запад вползал в капитализм, и чем дальше, тем больше реальность, обусловленные ею практические задачи благоприятствовали укреплению частно-суммарной дисциплинарной сетки рационального знания, практически не оставляя места альтернативным подходам с мощным потенциалом принципов целостности и историзма. Выработанный в XX в. в СССР как альтернатива «буржуазной науке», исторический материализм по принципу конструкции носил холистский характер. Однако его функционирование в качестве элемента власти-знания, догматизм и ряд других черт не позволили в целом реализовать холистский потенциал (хотя ряд блестящих достижений несомненен, достаточно вспомнить В.В. Крылова, А.А. Зиновьева и др.). Вернёмся, однако, к И. Валлерстайну.

Ныне ситуация иная. Налицо серьёзный кризис рационального знания о природе и обществе. Работы И. Пригожина по биохимии, И. Экеланда по математике и теории вероятности, Б. Мандельброта по фрактальной геометрии и многое другое — всё это ставит под сомнение ньютонианско-эйнштейновскую картину мира[2]. Аналогичные изменения происходят в науке об обществе, которая переживает революционный методологический сдвиг, причём тройной:

---

[1] Показательно, что сам Валлерстайн предпочитает говорить о мир-системной **перспективе**, а не о мир-системной теории.

[2] Об этом см., в частности: *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из Хаоса. — М.: Прогресс, 1986. — 431 с.; *Николис Г., Пригожин И.* Познание сложного. — М.: Мир, 1990. — 342 с.; *Пригожин И., Стенгерс И.* Время. Хаос. Квант. — М.: Изд. группа «Прогресс». М., 1994. — 266 с.

• от прежних объектов исследования и соответствующих им дисциплин к принципиально новым;

• от равновесных ситуаций к неравновесным, к флуктуациям, к «нелинейной динамике»;

• от системы к субъекту.

И. Валлерстайн и МСА, таким образом, выступают не изолированно, а как элемент широкомасштабного, хотя и не набравшего ещё полную силу изменения научного мировоззрения. Нельзя сказать, что таких, как И. Валлерстайн, — много; это далеко не так, но он не одинок, и это существенно меняет его ситуацию — и общественную, и творческую.

За последние годы на русский язык было переведено несколько работ И. Валлерстайна; в основном это книги и сборники статей последних лет. К сожалению, базовые работы И. Валлерстайна, представляющие фундамент, суть его концепции капитализма, так и не переведены на русский язык. Поскольку перевод «мир-системного трёхтомника» — задача не из лёгких, а потребность в знакомстве с основами «валлерстайнизма» есть, мы решили представить читателю его работу «Исторический капитализм» (1985). Это небольшая книга, в основу которой легли четыре лекции. В них И. Валлерстайн в доступной манере излагает основы МСА и своей концепции капитализма. В работе «Капиталистическая цивилизация» (добавлена к изданию «Исторического капитализма» в 1995 г.) Валлерстайн представляет «балансовый отчёт» капитализма — его достижения и провалы как исторической системы.

Текст Валлерстайна предваряет данный очерк, посвящённый МСА. Цель очерка — дать общую картину идей и концепций, иными словами, творчества Валлерстайна в сжатом виде и под определённым углом зрения. Представлять это творчество можно по-разному. Можно, например, дать обзор вышедших томов «Современной мир-системы» в целом или каждого по отдельности. Мне этот вариант не нравится тем, что шарм Главной Книги И. Валлерстайна — не только в концепции, но и в нарративе, в деталях. И хотя из этих деталей порой неожиданно для отца-основателя МСА выскакивает дьявол (как известно, живёт он в них), который грозит разрушить всю схему, тем не менее именно целостность повествования, «научный рассказ», образ в целом — вот что привлекает в Главной Книге. Любой обзор снизит впечатление, предпочтительнее перевод с хорошим комментарием.

Можно было бы пойти по пути равномерного «конспективного» представления книг и сборников статей американского учёного. Однако такой подход представляется мне лишённым динамики.

Ещё один вариант — вытащить из текстов и представить в сконцентрированном виде некую супервыжимку, *Summa Wallersteiniae*. Это, пожалуй, слишком: ломается структура работ учёного, налицо произвол референта.

Я решил пойти по пути, который, думаю, скорее всего, избрал бы сам И. Валлерстайн. Будучи прагматиком и практиком, он постоянно стремится к «золотой середине», руководствуясь соображением *«middle is the muddle but the muddle is the medium»* («середина — это “каша”, но середина — это и средство»). Середина — это всегда осторожность, скромность и умеренность. В связи с этим оптимальным представляется следующий вариант.

Во-первых, показать контекст возникновения и истоки МСА — интеллектуальные и политические. Последние весьма важны. МСА — политизированная научная теория. Для его представителей характерно пристальное внимание к текущей истории, что добавляет к фундаментальности МСА актуальность, причём в весьма острой форме. МСА очень интересен с идейно-политической точки зрения — как концептуальная форма развития левого, новолевого или бывшего левого сознания — и вообще, и в такую эпоху, когда дихотомия «левые – правые» слабеет, делая традиционных левых и правых похожими на колоду старых карт, — грядут иные времена, иные расклады сил, иные противостояния. МСА интересен и как образец левого анализа в ситуации, когда социальное и интеллектуальное пространства левых сокращаются, подобно «шагреневой коже». Интеллектуальное брожение отражает брожение политическое — и наоборот.

Когда-то Юрий Тынянов, характеризуя некую ситуацию, возникшую на исходе определённой эпохи русской истории или даже уже после её окончания, писал: *«Было в двадцатых годах винное брожение — Пушкина.*

Грибоедов был уксусным брожением. А там — с Лермонтова идёт по слову и крови гнилостное брожение, как звон гитары».

В левой мысли в 70–80-е годы было всё больше горечи, всё больше уксуса, всё меньше оптимизма по поводу *brave new world* посткапитализма, освобождения Третьего мира и т.д. «Прекрасный новый мир» 80-х для Первого мира обернулся тэтчеризмом и рейганомикой, для Третьего мира — жёсткой позицией Хомейни и Саддама Хусейна; падение коммунизма — Второго мира — вовсе не привело к торжеству свободы и демократии, к более предсказуемому и стабильному миру. История опять выкинула фортель, ещё раз показав, что исследователям трудно уследить за миром в целом. Но именно это бремя взвалили на себя мир-системники, а как гласит арабская поговорка, благое намерение — полдела.

Во-вторых, в предисловии должны быть изложены методологические основы МСА.

В-третьих, необходимо осветить интерпретацию основных тенденций развития капиталистической системы в работах Валлерстайна.

В-четвёртых, в связи с политизированностью МСА будут представлены оценки Валлерстайном послевоенного периода мирового развития (и дан небольшой экскурс в интерпретации Валлерстайном феномена идеологии).

В-пятых, речь пойдёт о прогнозах Валлерстайна на будущее, на ближайшие 25–50 лет.

Мир-системный анализ: контекст возникновения и истоки

По прогнозам школы МСА, созданной И. Валлерстайном, современной мир-системе (далее — СМС), или капиталистической мир-экономике (далее — КМЭ) как исторической системе, осталось существовать 70–80 лет. Если это так, то возникновение МСА и более широкого научного комплекса, дисциплины (или дискурса) — мироведения, объект изучения которого — мир в целом, мир как система, лишний раз подтверждает справедливость изречения: *«Сова Минервы вылетает в сумерки»*.

Мироведение, первым оформленным вариантом которого стал МСА, начало складываться в середине 70-х годов. Этот процесс был обусловлен, с одной стороны, логикой развития капиталистического мира в целом (НТР, рост транснациональных структур, начало упадка гегемонии США как государства и иные сдвиги на рубеже 1960–1970-х годов); с другой — логикой развития западной науки как о европейском, так и особенно о неевропейском, афро-азиатском мире. Детальный анализ всех или большинства тенденций, приведших к возникновению МСА, потребовал бы написания обширной монографии. Поэтому, освещая данный вопрос, я ограничусь лишь указанием на ту логику развития парадигм западной науки, которая привела к возникновению МСА.

Среди предшественников на Западе отмечу тех, кто занимался проблемами более крупных структур, чем нации-государства, — цивилизаций неевропейских и европейской. Это — А. Тойнби, К. Куигли, У. Макнил (список можно продолжить). Однако, объективно закладывая фундамент мироведения, сами они в большей степени сосредоточивали внимание на относительно изолированном характере изучаемых ими социальных систем и в меньшей степени на их взаимодействии, не говоря уже о системе взаимодействия в рамках какой-то целостности. В то же время исследования такого рода стали благоприятным фоном и материалом для мироведения, особенно при пересечении с рядом других парадигм западной науки — о неевропейском (афро-азиатском) мире; показательно, что отец-основатель МСА И. Валлерстайн по «исходной» своей специальности — африканист.

С установлением политико-экономической гегемонии США в мире и распадом колониальной системы после мировой войны 1939–1945 гг. выявилась неадекватность многих прежних западных теорий и схем, объясняющих развитие стран Азии и Африки, в частности теорий культурантрополо-

гических. Объектом последних в 1920–1930-е годы были в основном социальные структуры доклассового, племенного типа; на первый план выдвигалась не столько динамика, сколько статика. При всех достижениях этих теорий они не могли и не смогли ни предсказать усиления борьбы за национальное освобождение, ни дать содержательного анализа социальной структуры колониальных и послеколониальных обществ. Изменившаяся ситуация способствовала сдвигу от антропологии к социологии, а в самой антропологии — от культурантропологии в строгом смысле этого слова к экономической и политической антропологии[1]. Задачи анализа послеколониальных обществ, а также необходимость объяснения причин поддержки национально-освободительного движения крестьянством, его роли в нём диктовали и смещение фокуса исследований с более простых, «племенных» обществ к более сложным, «крестьянским».

«Крестьянские» неевропейские общества было легче связать с капитализмом в теории, трактуя их развитие в эволюционистском духе как стадию, аналогичную феодализму в Западной Европе, логически предшествующую капитализму и автоматически долженствующую «прийти» к нему в процессе применения западных экономических и политических моделей развития, т.е. в процессе, именуемом «модернизация». Например, один из представителей этого направления — Дж. Далтон прямо говорил о том, что в целом современное крестьянство Третьего мира соответствует европейскому крестьянству «ранней стадии модернизации» со всеми вытекающими отсюда выводами экономического и политического порядка.

По поводу того, что освободившийся афро-азиатский мир должен в будущем в большей или меньшей степени повторить опыт «североатлантического» капитализма, можно было спорить. Но то, что «крестьянские» общества Востока не смогли в ходе естественного и спонтанного развития породить капитализм, было бесспорным фактом, причины которого необходимо было найти и объяснить как либералам, так и марксистам.

Первыми попытками такого объяснения в 1950-е годы стали теории «вызов — ответ» и теории «традиционного общества» и «модернизации». Во многих отношениях это был единый эпистемологический блок, в котором теории «вызов — ответ» функционально выступают ранним, несовершенным или даже архаичным вариантом теорий «традиционного общества» и «модернизации». Главным вопросом теорий, разрабатываемых в рамках подхода «вызов — ответ», был следующий: как (активно или пассивно) и почему реагировала та или иная афро-азиатская страна на европейский вызов? Среди

---

[1] Подробнее см.: *Фурсов А.И.* Современный этап изучения крестьянства в немарксистских исследованиях // Проблемы социальной истории крестьянства Азии: Сб. обзоров. — М.: ИНИОН, 1986. — Вып 1. — С. 5–40.

множества уязвимых мест этого подхода[1] следует выделить главное — искусственное раздробление целостной социальной реальности; при этом рассматриваются лишь те её элементы, которые стыкуются с западным обществом, с его воздействием, реагируют на него. Данный метод приводил, например, к следующему: факты, вычленявшиеся в качестве причин развития одних обществ (Япония), квалифицировались как причины слаборазвитости других обществ (Китай, Индия). К тому же, как заметил Я. Хеестерман, конкретно-исторические факты не подтверждают полностью идей «вызов — ответ» даже применительно к Индии, которая «реагировала» на Запад значительно активнее других азиатских обществ[2]. Кроме того, в концепциях «европейский вызов — азиатский ответ» выделялись культурно-психологические аспекты в ущерб социально-экономическим и политическим.

Эмпирические достижения этих теорий несомненны, однако они оказались весьма уязвимыми с методологической точки зрения. Прежде всего «традиционное общество» определялось и исследовалось как докапиталистическое. Его определение конструировалось как комплекс отсутствующих у капитализма черт, т.е. по негативу. Вызывает сомнение привлекательная для капиталоцентричного взгляда простая и жёсткая биполярность подхода к реальности. Она исключала, как заметил П. Коэн, возможность наличия таких важных сфер человеческого опыта, которые не идентифицируются ни с традицией, ни с современностью[3].

К тому же «прошлое» и «настоящее», «традиция» и «современность» (как понятия, обусловленные наличием в европейской цивилизации двух религиозно-культурных традиций — античной и иудеохристианской, представители каждой из которых могли объявить другую «прошлым», «древностью») необязательно противостоят друг другу как взаимонепроницаемые целостности. В частности, супруги Л. и С. Рудольф на материале конкретного социоантропологического исследования довольно убедительно показали, как «традиционные» по содержанию организации функционально реализуют современные задачи[4]. Аналогичные примеры приводит китаист У. Рауи в исследовании гильдий Ханькоу в послетайпинский период[5].

[1] Подробнее см.: *Фурсов А.И.* Развитие азиатских обществ XVII – начала XX в.: Современные западные теории. — М.: ИНИОН, 1990. — Вып. 1. Либеральные социально-экономические теории: поиск внутренних факторов развития. — 71 с.

[2] *Heestermann J.S.* Was There Indian Reaction? Western Expansion and Reaction // Essays on European Expansion and Reaction in Africa and Asia. — Leiden: Leiden University Press, 1978. — P. 31–58.

[3] *Cohen P.* Discovering History in China: American Historical Writing on the Recent Chinese Past. — N.Y.: Columbia University Press, 1984. — P. 92.

[4] *Rudolf L., Rudolf S.* The Modernity of Tradition: Political Development in India. — Chicago; L.: University of Chicago Press, 1967. — P. 5.

[5] *Rowe W.* The Guilds of Hankow: Change and Growth in Chinese Economic Organization // Papers from Research Conference on Rural — Urban Networks in Chinese Society. — Ann Arbor: McInack Island, 1979. — P. 1–69, 169.

Супруги Ллойд заметили: когда в рамках теорий «традиционного общества» и «модернизации» современные общества исследуются сами по себе, как правило, активно подчёркиваются выживание и сохранение традиции. Однако как только современные общества сравниваются с традиционными, традиционные черты первых либо изображаются в качестве остаточных явлений, обречённых вследствие неэффективности и неспособности соответствовать императивам модернизации, либо вообще исчезают из анализа. Этому исключению традиционных черт из современности соответствует исключение современных — из традиции. Методологический результат для теории — аналитический разрыв между традицией и современностью; результат практический — неспособность понять и концептуально воспроизвести формы взаимодействия между традицией и современностью, адаптацию традиционных институтов к современному миру.

Ещё один аналитический разрыв — между восточными и западными элементами взаимодействия, а также между внутренними и внешними факторами развития. В рамках теорий «традиционного общества» и «модернизации» в фокус исследования в качестве значимых проблем попадали лишь те элементы афро-азиатской реальности, которые считались находившимися в непосредственном взаимодействии с Западом. Таким образом, получалось, что развитие капитализма, современность связывались с внешним воздействием, с Западом, а противодействие капитализму, традиция — с Востоком; развитие — с внешними факторами, неразвитость (слаборазвитость) — с внутренними.

Сторонники теорий «традиционного общества» и «модернизации», как и подхода «европейский вызов — азиатский ответ», столкнулись, помимо прочего, с проблемой соотношения внутренних и внешних факторов развития афро-азиатских обществ. Будучи формально ориентированными на поиск внутренних факторов развития, они находили внутри этих обществ преимущественно факторы неразвития, слаборазвитости, помехи развитию, которое отождествлялось у них только с капитализмом, с европейским путём социальной эволюции. Внутри афро-азиатских обществ положительно оценивались те факторы, которые способствовали успеху западного проникновения. Неразвитость, «немодернизированность» определялись как результат сопротивления внешнему, западному воздействию. Таким образом, сами внутренние факторы дробились, и главная роль среди них отводилась тем, которые были функцией внешних; возникли неопределённость, двойственность, неясность в определении внутренних факторов.

Всё это использовали в качестве «окна уязвимости» леворадикальные критики теорий традиционного общества и модернизации в середине 1960-х годов, когда к тому же стало ясно: практические рецепты и предложения «модернизаторов» не работают. С середины 1960-х годов начинаются арьер-

гардные бои сторонников теории модернизации, которые длятся до конца 1970-х годов, а затем теория сходит на нет. Впрочем, отрыжки теории модернизации случаются и в наши дни: один из примеров — фукуямовские писания о «конце истории». Но всё это уже «жизнь после смерти».

Представители леворадикальной социологии и политэкономии попытались разрешить противоречие в оценке внутренних и внешних факторов путём двойного смещения акцентов. Во-первых, устраняя указанные неясность и двойственность, леворадикалы довольно чётко разделили внутренние и внешние факторы. Те формы внутри афро-азиатских обществ, которые оказались в тесном контакте с западным капитализмом, логически подпадали (по крайней мере, функционально) под определение внешних. Во-вторых, леворадикалы диаметрально изменили оценку внешних факторов, западного воздействия с положительной — на отрицательную.

Слаборазвитость афро-азиатских обществ, деформированность в них развития капитализма или даже невозникновение его объявлялись результатом негативного воздействия капитализма на традиционные структуры. Будучи во многом верен сам по себе, такой вывод, однако, мало что говорил о собственной динамике и внутренних факторах развития афро-азиатских обществ. К тому же за рамками исследований оставались, как и в случае с модернизацией, все не включённые во взаимодействие с Западом восточные общества[1].

Что же касается попыток сделать понятие слаборазвитости инструментом анализа социальной структуры восточного социума **до** его активного взаимодействия с Западом, то они приводили к созданию исходно противоречивых объяснительных моделей, в которых концептуализации внешних и внутренних факторов не стыковались друг с другом. Возникал порочный круг, обусловленный тем, что подход как модернизаторов, так и леворадикалов рассекал, большей частью искусственно, живую ткань афро-азиатских обществ на две неравные части и был способен объяснить развитие лишь меньшей из них. Получалось, что чем адекватнее анализ изучаемой меньшей части, тем бессильнее он в объяснении второй и тем более ускользает целостность изучаемого общества как объекта исследования. Попытки «подправить» огрехи с помощью применения неомарксистских моделей или теории способов производства успехом не увенчались. К середине 1970-х годов западная наука оказалась на распутье в поисках утраченной целостности изучаемого объекта — афро-азиатского мира — и определения того, что такое «внутренние» факторы и что такое «внешние».

---

[1] См.: *Фурсов А.И.* Развитие азиатских обществ XVII — начала XX в.: Современные западные теории. — М.: ИНИОН, 1991. — Вып. 2. Теории слаборазвитости: Поиск внешних факторов развития. — 89 с.

Поиски выхода велись по двум путям. Первый — стремление выйти из затруднений класса проблем «часть — целое», «внутреннее — внешнее», «Восток — Запад» посредством нахождения объекта исследования в особом субъекте — той или иной социальной группе.

Здесь два основных направления. Первое — «новая социальная история» — ориентировано на создание таких концептуальных моделей, в которых коллективное действие изучается прежде всего как реализация субъектного потенциала той или иной группы. Классический пример — концепция «моральной экономики крестьянина» Дж. Скотта[1]. Второе направление — «новая история культуры» (или «новый ориентализм») — ставит целью переосмысление западного ориентализма в целом и превращение его из объектной системы знания в «субъектную». Классический представитель этой группы — Э. Саид[2]. Есть работы, авторы которых стремятся синтезировать «новые истории» — социальную и культуры — в единую. Центральным объектом обновлённого востоковедного знания становится определённое восточное общество, познаваемое посредством либо понятий его культуры, либо нейтральных (или кажущихся таковыми) категорий европейской науки. Пример — то, что П. Коэн называл «китаецентризмом» или «китаецентричным подходом»[3].

Второй путь — стремление снять противоречие «внутреннее — внешнее» путём нахождения (конструирования) такого объекта, который представлен миром в целом как особой системой — мир-системой, больше которой нет ничего (и потому устраняется проблема «микро- — макро-») и в которой нет Востока и Запада, а есть лишь центр, полупериферия и периферия. Речь идёт о мир-системном подходе.

Мир-системный анализ: Методологические основы

Мир-системный подход был сформулирован И. Валлерстайном в фундаментальной работе «Современная мир-система»[4] и в большом количестве статей. Его исследования вызвали множество откликов, огромный интерес, многочисленные дискуссии и острую критику. Первая волна критики пришла извне МСА: Валлерстайна и его подход критиковали за пренебрежение анализом способов производства, классовых отношений

---

[1] *Scott J.* The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. — New Haven; L.: Yale University Press, 1976. — IX, 246 p.

[2] *Said E.* Orientalism. — L.: Henley, 1978. — XI, 369 p.

[3] *Cohen P.* Discovering History in China...

[4] *Wallerstein I.* The Modern World-System. — N.Y. etc.: Acad. Press 1974. — Vol. 1. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. — XVI, 410 p.

(Р. Бреннер), государства и геополитических факторов (А. Золберг, Г. Моделски, Т. Скочпол), культуры (Ш. Айзенштадт), конкретных исторических фактов; критике подверглась и методология МСА.

Вторая волна критики пришла изнутри МСА — как в плане уточнения или «исправления/улучшения» мир-системного подхода, так и в смысле разработки альтернатив подходу Валлерстайна в рамках мироведения как дисциплины, исследовательской программы, эпистемологической программы и т.д. Среди таких критиков следует особо выделить А.Г. Франка[1] и Дж. Абу-Лугод[2].

Дискуссии и споры по поводу МСА вообще и работ Валлерстайна в частности — важная и действительно увлекательная проблема. Это настоящая драма идей, интересная не только с научной, но и с социокультурной и идеологической точек зрения как показатель столкновения различных идеологем в такой период, когда идеологическая форма выражения социальных и экономических интересов внешне уступает место цивилизационной, этнокультурной и когда левые, дискутируя между собой, забивают последние гвозди в гроб своей версии универсалистской идеологии. С определённой точки зрения МСА — это продукт распада идеологии левых на Западе, так как Третий мир всегда занимал в ней важное место, и споры о его судьбе косвенно отражают споры о будущности самих левых. Однако наша тема — концепция Валлерстайна, основное содержание его работ, поскольку именно они находятся в центре споров.

И. Валлерстайн соединил леворадикальные идеи с элементами неортодоксального варианта марксизма (в интерпретации К. Поланьи, т.е. с отрицанием универсальных законов вообще и универсальности развития в его европейском варианте в частности) и с методологией исторического анализа школы «Анналов», прежде всего Ф. Броделя (даже термин «капиталистическая мир-экономика» со всей очевидностью есть модификация броделевского *l'économie-monde* — экономика-мир). При этом, по мнению некоторых учёных, фокус исследования сместился с неравномерного обмена («неэквивалентного обмена») на неравномерное развитие и с центра — на периферию, в которой Валлерстайн усматривает источник капиталистического накопления[3]. Кроме того, у Валлерстайна структура мира как системы — независимая переменная, не сводимая ни к одному из элементов, включая центр или ядро.

---

[1] *Frank A.G.* Theoretical Introduction to 5000 Years of World System History // Review. — Binghamton, N.Y., 1990. — Vol. 13. No. 2. — P. 155–248.

[2] *Abu-Lughod J.* Before the European Hegemony: The World-System A.D. 1250–1350. — Oxford University Press, 1989. — XVIII, 443 p.

[3] *Alexander M.L.* Structure and Process in the Modern World-System: the World-System Theory of Immanuel Wallerstein and Its Predecessors // An Introduction to Marxist Theories of Underdevelopment / Peet R. (ed.). — Canberra; Australia National University, 1980. — P. 116.

Особую роль в концепции Валлерстайна сыграли элементы, заимствованные им у исторической социологии и у школы «Анналов», в частности, идея продолжительных — *longue durée* — исторических периодов. Ориентированные на анализ истории, прежде всего экономической, методы «Анналов», обеспечивая «тактическое разнообразие», создавали возможность более полного и многоцветного отражения реальности, преодоления жёсткости исходных леворадикальных моделей. Но они же — каждое приобретение есть потеря — создавали угрозу возникновения эклектичности, утраты концептуальной ясности. Кроме того, упор на историю (а, например, не на теорию классов) при всей идеологической заострённости подхода, который И. Валлерстайн назвал мир-системной перспективой, создавал возможность отхода от идеологизированности леворадикальных теорий, их частичной деидеологизации.

Правда, в леворадикальных схемах теория и идеология тесно связаны, и утрата одного элемента может повлечь за собой распад другого, в связи с чем решающую роль приобретают способ рассечения теории и идеологии, средства этой процедуры и мастерство исполнителя. Задача трудная, тем более что, по признанию самого Валлерстайна, возникновение МСА было обусловлено как идеологическими, так и научными факторами.

Идеологически, пишет Валлерстайн, это был протест против идеологизированного позитивизма и ложного аполитизма как составных элементов мировой социальной науки, против научно-идеологических структур западного общества[1]. В научном плане МСА стал отрицанием нескольких фундаментальных положений социальной науки XIX в.: дисциплинарное разделение науки на экономическую теорию, социологию и политическую науку; ложная дилемма «идиографические методы *versus* номотетические методы»; противопоставление истории — социологии; отрицание наследия XIX в. предполагало отказ от использования понятия «общество» и замену его понятием «социальная система»; отказ от определения капитализма в соответствии с той моделью, которая сформировалась в ядре, в пользу «исторического капитализма», т.е. анализ капитализма как мирового явления; подход к истории не как к неизбежному, а как к возможному прогрессу («человечество, быть может, вовсе и не идёт к триумфу добра»). Методологическим подкреплением этой идеи стали модель «диссипативных структур» И. Пригожина[2] (порядок через хаос) и акцентирование метода исследования «от абстрактного к конкретному».

---

[1] *Wallerstein I.* World-System Analysis: the Second Phase // Review. — Binghamton (N.Y.), 1990. — Vol. 13, No. 2. — P. 287.

[2] См. *Пригожин И.*, *Стенгерс И.* Порядок из Хаоса. — М.: Прогресс, 1994. — 266 с.; *Николис Г.*, *Пригожин И.* Познание сложного. — М.: Мир. — 342 с.

Главная методологическая трудность современной социальной науки, считает Валлерстайн, заключается в том, что абстракции суть утверждение постоянства, тогда как мир постоянно меняется: «Изменение вечно. Ничто никогда не меняется. Оба клише "истинны". Этими фразами, фиксирующими гераклитово-парменидовскую дилемму европейской мысли, начинается первый том «Современной мир-системы». Структуры — это те коралловые рифы человеческих отношений, которые отличаются стабильным существованием в течение длительных периодов времени. Но структуры тоже рождаются, развиваются и умирают»[1]. Чтобы разрешить антиномию утверждения постоянства структур и одновременно постоянства изменений, Валлерстайн предлагает шесть практических приёмов, составляющих суть МСА.

1. Определение и обоснование базового объекта исследования. К определению этого объекта Валлерстайн пришёл через понятие «историческая система», которую как единицу общественного разделения труда он наделяет следующими характеристиками: 1) относительная автономия; 2) наличие временных границ; 3) существование пространственных границ[2]. Исторические системы бывают двух типов: мини-системы и мир-системы. Как функционировали мини-системы, пишет Валлерстайн, мы почти не знаем, в современном мире они прекратили своё существование. Таким образом, реально существующим историко-системным базовым объектом исследования может быть только мир-система.

Повторю: автор «Современной мир-системы» настаивает на употреблении дефиса в термине «мир-система» (а не «мировая система» или «миросистема»). «Мир-система» — это не система «в мире» или «мира». Это система, «которая сама есть мир». Отсюда — дефис, поскольку «мир» — это не атрибут системы; скорее два слова составляют единое понятие[3]. Если для некоторых, пишет Валлерстайн, например для А.Г. Франка[4], существовала и существует в течение пяти тысячелетий только одна мировая система, то, по его мнению, мир-систем в истории было много. (Например, Китай был представлен исторически несколькими мир-системами — Хань, Тан и т.д.).

---

[1] *Wallerstein I.* The Modern World-System. — N.Y. etc.: Acad. Press 1974. — Vol. 1. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. — XVI, p. 3.
[2] *Wallerstein I.* Historical Systems as Complex Systems // European Journal of Operational Research. — Amsterdam, 1987. — Vol. 30, No. 2. — P. 203; *Wallerstein I.* The Space-Time of Economic Change. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1985. — P. 3.
[3] *Wallerstein I.* Système mondial contre systèmes-monde: le dérapage conceptual de Frank // Original English version of manuscript of the article for «Sociologie et societés». — Binghamton (N.Y.), 1990. — P. 5.
[4] См.: *Frank A.G.* Theoretical Introduction to 5000 Years of World System history // Review. — Binghamton, N.Y.. 1990. — Vol. 13. No. 2. — P. 155–248.

Сами мир-системы Валлерстайн подразделяет тоже на два типа: мир-империи и мир-экономики. Первые основывались на политической власти, вторые — на торговле. Противопоставление мир-империй и мир-экономик в докапиталистическую эпоху представляется мне довольно уязвимым местом в схеме Валлерстайна. На мой взгляд, это разделение недостаточно продумано: неясно, чем отличается система торговли мир-империй между собой от мир-экономики? Карфаген — мир-империя или мир-экономика? А Древний Рим? «Индоокеанская мир-экономика» — это мир-экономика или зона торговли азиатских мир-империй? Как отличить мир-экономику от системы устойчивых торговых контактов между мир-империями? Я уже не говорю о том, что крушение римской «мир-империи» стало и крушением экономики этого макрорегиона.

2. Осознание различия между циклами и трендами. Каждая мир-система имеет пространственные и временные границы, причём последние не менее важны, чем первые. Валлерстайн подчёркивает необходимость учитывать броделевскую идею о множественности типов социального времени: событие, конъюнктура (циклы 40–50 лет) и тренд (100 и более лет). Поскольку, как говорил Бродель, событие — это пыль, главное — это циклы (циклические ритмы) и тренды. Что делает неизбежным тренды? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо, считает Валлерстайн:

3. Определение и характеристика противоречий, имманентных особым структурам. Под противоречиями он понимает реализацию не просто конфликтов, а социальных ограничений, налагаемых структурами системы на её агентов и делающих один комплекс действий оптимальным в краткосрочной перспективе, а другой, часто противоположный, оптимальным для этих же агентов, но уже в среднесрочной перспективе. Выходит, заключает Валлерстайн, что в той степени, в какой социальные агенты решают свои краткосрочные проблемы, они в то же время создают среднесрочные проблемы. Именно в этом заключается суть механизма превращения циклических ритмов (результат решений краткосрочных проблем) в вековые тренды (среднесрочные последствия этих решений).

4. Тщательное различение между сдвигом в конъюнктуре (conjuncture) и историческим переходом (transition). По мнению Валлерстайна, термин «кризис» — злой рок социальных исследований. Этот термин используется для описания как кратко- и среднесрочных изменений в рамках одной структуры, так и переходных периодов от одной системы к другой, хотя это совершенно разные процессы. Одно дело, когда оптимальное решение краткосрочных проблем порождает среднесрочные проблемы, которые решаются

среднесрочными способами. Другое дело, когда накапливающиеся среднесрочные решения сообщают столетним трендам некоторые новые качества, создающие долгосрочные проблемы.

«Ключевая долгосрочная проблема, создаваемая противоречиями системы, возникает тогда, когда вековые тренды достигают пункта, в котором среднесрочные решения краткосрочных проблем не являются более эффективными даже в среднесрочной перспективе»[1]. Наступает, пишет Валлерстайн, системный кризис, когда, если пользоваться языком современной физики, возникают жёсткие колебания (неустойчивости) и бифуркация, которая является трансформирующей. Другими словами, возникает структурный переход от существующей исторической системы к чему-то другому. Переход — явление довольно длительное, но необратимое, а его исход является неопределённым (стохастическим).

5. Определение и обоснование хронософии, лежащей в основе теоретизирования. Каждая историческая система имеет конец, который Валлерстайн определяет как «полосу» времени, «переход», когда колебания любой формы изменения значительно более сильны и непредсказуемы, чем обычно, и резко возрастает роль того, что философы называют свободой воли. Если в рамках нормально функционирующей исторической системы Валлерстайн практически не видит места для свободы воли (структуры резко ограничивают выбор), то в периоды перехода свобода воли начинает торжествовать над необходимостью. Именно в такой период и вступает современный мир, когда резко увеличиваются возможности сознательного выбора: «В такие моменты рабочее различие между политическим, интеллектуальным и моральным выбором значительном уменьшается, хотя и не исчезает полностью»[2].

6. Несостоятельность (ложность) идеи разделения общества на экономику, политику, культуру. «Святую троицу» основных социальных дисциплин Валлерстайн считает «ужасным наследием» XIX в., от которого необходимо решительно отказаться. Правда, замечу: в его анализе целостность как объект присутствует далеко не всегда; часто мир-система в соответствии с принципами науки XIX в. благополучно распадается на экономику, политику и культуру, среди которых решающее место Валлерстайн отводит экономике и тем самым весьма близко подходит к экономдетерминизму, а заодно вступает в противоречие с провозглашённым им самим холизмом.

---

[1] *Wallerstein I.* A Theory of Economic History in Place of Economic Theory // Studies in Social and Economic History. — Leuven: Leuven University Press, 1990. — Vol. 15: Methodological Problems. — P. 46.

[2] Ibid. — P. 47.

Как работает капиталистическая мир-экономика: Версия Валлерстайна

Итак, методологические «колышки» забиты, «кости» практических приёмов брошены. Как выглядят на такой основе СМС и КМЭ? Валлерстайн признаёт, что в целом принципиальные причины возникновения КМЭ (СМС) (т.е. генезиса капитализма) неясны. Поэтому он лишь констатирует следующее.

Около 1500 г., пишет он, произошло нечто странное: одна из мир-экономик — европейская — оказалась менее хрупкой, чем предыдущие. Она вступила в борьбу с мир-империей Габсбургов и победила[1]. Центр европейской системы сместился из Севильи в Амстердам, а европейская мир-экономика упрочилась как капиталистическая. СМС — это КМЭ, охватывающая весь мир и в двух отношениях отличающаяся от всех исторических систем: 1) она представлена капиталистической мир-экономикой; 2) она функционирует, не имея никаких внешних по отношению к ней исторических систем. Валлерстайн настаивает на характеристике СМС как исключительно капиталистической. Хотя в целом он не питает никаких симпатий к тематике способов производства, для капитализма он делает явное исключение, и это понятно: без капиталистического способа производства рассыпается вся концепция СМС. Однако здесь схема Валлерстайна сталкивается с серьёзными проблемами.

Во-первых, капитализм — не единственный способ производства, есть и другие. Как возникает капитализм как способ производства? Эту проблему Валлерстайн вообще не ставит, он снимает её в другой, на мой взгляд, вторичной проблеме: как возникли СМС, КМЭ? По его логике получается, что существует некая качественно неопределённая мир-экономика, которая вдруг побеждает мир-империю, а затем становится капиталистической. Капитализм возникает неизвестно откуда — *deus ex machina*. Если главная, значимая ось развития — это отношение между мир-империями и мир-экономиками, то что и как позволяет капитализму оказаться решающим фактором? Что делает мир-экономику капиталистической? Победа над мир-империей? Сомнительно. Но тогда, следовательно, сама победа мир-экономики обусловлена капитализмом. А если так, то весь ряд мир-империй и мир-экономик теряет значение, объяснительный смысл и должен уступить своё место в ряду способов производства. К тому же логически (и содержательно)

---

[1] На русском языке критический анализ позиции Валлерстайна по поводу генезиса капитализма см.: *Фурсов А.И.* Европейская цивилизация и капитализм. — М.: ИНИОН, 1991. — С. 39–53; *он же:* Возникновение капитализма и европейское общество сквозь призму конъюнктурного подхода // Социологические исследования. — М., 1991. — № 11. — С. 37–46.

ошибочно выводить возникновение качественно определённой (капиталистической) системы из развития качественно неопределённой (мир-экономической) системы. Мир-экономика относится к КМЭ как количественное к качественному, но ведь нельзя непосредственно выводить качество из количества. И откуда берётся переход из количества в качество (или из одного качества — в другое)? Необходимо хотя бы зафиксировать, если не объяснить, наличие этого перехода как хроноклазма, или социальной революции.

Похоже, от самого Валлерстайна все эти подмены и нестыковки в логике исследования ускользают, и он лишь фиксирует: до 1500 г. развитие исторических систем происходит как чередование или комбинация качественно неопределённых систем — мир-империй и мир-экономик; затем возникшая (когда? как?) европейская мир-экономика побеждает и по мановению волшебной палочки становится капиталистической. Полагаю, Валлерстайн смешивает две разные вещи: возникновение капитализма и победу мир-экономики в Европе. К тому же, смешивая их в один процесс, объясняя причины возникновения этого процесса, он разъединяет их и объясняет то первый — вторым, то второй — первым.

Во-вторых, капитализм с XVI в. и по наши дни существовал не в одиночестве, а наряду с другими способами производства, которые он со временем подчинил и которым придал капиталистическую функцию, нередко не меняя, а лишь модифицируя их содержание. Мировая система капитализма — это капиталистически-функциональное взаимодействие различных по субстанции способов производства[1]. Таким образом, возникает необходимость анализировать и способы производства, и их взаимодействие. Валлерстайн, похоже, отказывает этой проблеме в праве на существование, квалифицируя СМС со всем её «содержимым» как капиталистическую; на различие между содержательным и функциональным аспектами капитализма он вообще не обращает внимания.

Создаётся впечатление, что капитализм как аналитический инструмент необходим Валлерстайну только как знак для обозначения качественного отличия СМС от всего, что предшествовало ей. Недостаточная разработанность данной проблемы, расплывчатое определение капитализма привели к тому, что Дж. Абу-Лугод, упрекнув Валлерстайна в нарушении логики использования его же собственных критериев, заметила: на основе этих критериев СМС существовала уже в XIII в. (как и полагал Ф. Бродель). Правда, на основе критериев, которыми пользуется Абу-Лугод, капиталистическую мир-систему можно найти в Древнем Риме или ханьском Китае, а не толь-

[1] Подробнее см.: *Крылов В.В.* Теория многоукладности (марксистский метод анализа социально-экономической неоднородности развивающихся обществ) // Русский исторический журнал. — М., 2000. — Т. IV, № 1–4. — С. 247–327; *Фурсов А.И.* Колокола Истории. — М.: ИНИОН РАН, 1996. — С. 19–62.

ко в XIII в. Дальше всех пошёл А.Г. Франк, который вообще отбросил проблему возникновения качественно новой (капиталистической) системы в XVI в. и заявил о сугубо количественном росте мировой системы Старого Света без качественных определений в течение последних пяти тысяч лет. Думаю, что А.Г. Франк завершил логическую тенденцию, присущую всем левым (марксистским, «неомарксистским» и т.п.) теориям, — тенденцию вымывания качественно определённого анализа социальных систем, подмену его «нейтральными» эмпирическими, народно-хозяйственными, описательными штудиями; аналогично развивался процесс в советской науке, что отражает самоограничивающий характер марксизма (но не теории Маркса), в котором функциональность постепенно обращается против самой же марксистской теории и устраняет качественно определённую содержательность. С этой точки зрения, если говорить уже о западном неомарксизме, логически и типологически Валлерстайн оказывается как бы промежуточной стадией между «ранним» и «поздним» А.Г. Франком.

Если интерпретация Валлерстайном генезиса капитализма вызывает сомнения, то его неприятие понятия «буржуазная революция» как способа этого генезиса и как элемента метаисторического мифа XIX в. представляется мне более обоснованным. Сюжет этого мифа, констатирует Валлерстайн, прост: давным-давно, в тёмные Средние века жили-были феодалы, владевшие землёй. Однажды (каким именно образом — предмет споров) возник средний класс, который стал бороться за экономические изменения. Вместе с экономическими изменениями произошли политические и духовные. В конечном итоге это привело к «промышленной революции». Наиболее преуспела Великобритания, остальные страны были менее развитыми или более отсталыми. Однако, исходя из лежащего в основе легенды оптимизма, не следовало отчаиваться: остальные народы могли и должны были повторить путь передовых и, таким образом, также насладиться плодами прогресса.

Характерно, пишет Валлерстайн, что все участники «великих интеллектуальных дебатов» XIX в. не ставили под сомнение описательную часть организующего мифа. Все — марксисты, консерваторы, либералы — подчёркивали существование двух пар антагонистических социальных групп (буржуазия — пролетариат, земельная аристократия — крестьянство) и полагали неизбежной социальную поляризацию: грядущее растворение аристократии в буржуазии, крестьянства — в пролетариате. Не только немарксисты развивали концепцию «новых средних классов»: понятие «мелкая буржуазия» постоянно присутствовало и всё более часто использовалось и в марксистских исследованиях.

Валлерстайн подчёркивает согласие представителей всех спорящих сторон по поводу общих черт «драмы современной истории»: 1) имеются две исчезающие группы (свергнутая аристократия и традиционное крестьян-

ство), две «восходящие» группы — буржуазия и пролетариат плюс нечётко определённые, играющие в зависимости от обстоятельств различную роль, новые средние классы; 2) драма современной истории имеет много почти не поддающихся счёту вариантов, в соответствии с количеством государств. Первичность государства как исходной единицы социального анализа никем не подвергалась сомнению.

Сомнения и вопросы

Схема новоевропейской истории, разработанная в XIX в. и продолжающая господствовать до сих пор, воплотилась, по мнению И. Валлерстайна, в комплексе проблем, которые очертили поле исследований, но ограничили и исказили исследовательскую перспективу. В связи с этим американский учёный ставит несколько вопросов.

1. Чем объяснить разнообразие национальных вариантов развития? Как в той или иной стране произошёл переход от феодализма к капитализму и как совершилась промышленная революция? Чем объяснить успех Великобритании? В чём причина бóльших успехов прогресса Запада по сравнению с Востоком?

2. Как те или иные страны справляются с проблемами, порождёнными их «параллельной» модернизацией? Каков оптимальный путь создания демократического государства, который обеспечит участие широких слоёв населения в управлении и в то же время не допустит анархии? Как могут страны справиться с социальными отклонениями (преступность, душевные заболевания), вызванными «аномальным» характером нетрадиционных обществ? Как могут государства преодолеть межгосударственные конфликты, обусловленные экономическим ростом (войны, империализм)?

3. Как отсталой стране догнать ушедших вперёд?

Поскольку, полагает Валлерстайн, ответы на два первых вопроса лежали, казалось, в плоскости сугубо внутренней истории «исходных целостностей» (государств), ответ на третий вопрос заключался в необходимости максимально последовательного повторения опыта более развитых государств. Ни либералы, ни марксисты, ни многие консерваторы не сомневались: сработает повторение менее развитыми странами опыта развития лидеров.

Миф, созданный в середине XIX в. с целью объяснения того, почему Великобритания оказалась в то время более могущественной, чем Франция или Германия, лучше всего «работает» на материале Западной Европы того периода. Однако с переносом этой гипотезы в пространстве и времени нарастают аномалии при приведении эмпирической реальности в соответствие с мифом, на что исследователи до сих пор реагировали добавлением к схеме

очередных «эпициклов» и «деферентов». Например, пишет Валлерстайн, от вопроса, существовала ли промышленность до индустриализации, отделываются с помощью добавления к индустриализации приставки «прото». (Здесь необходимо отметить, что и сам Валлерстайн фиксирует «протокапиталистические элементы» в докапиталистических обществах.)

В то же время Валлерстайн отдаёт себе отчёт в том, что «организующий историю миф» — мощная конструкция: он хорошо известен, объясняет многое из того, что и как происходило в истории; наконец, он гибок, причём до такой степени, что нередко его нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Исследования, ведущиеся в рамках мифа, придали ему черты научной утончённости и обаяние глубокой изученности деталей. Однако Валлерстайн искал и нашёл уязвимое место у современной историко-познавательной модели: во-первых, она не объясняет и не может объяснить — будь то марксистская или либеральная версия, — почему вопреки всем предсказаниям, вытекающим из неё, существует и увеличивается широко признанный разрыв между богатыми и бедными странами (ведь предполагалось, что все они станут обладателями «богатства наций»); во-вторых, в равной степени остаётся необъяснённым, почему растёт широко оспариваемый, но, как считает Валлерстайн, вполне реальный разрыв между буржуазией и пролетариатом.

Неспособность ответить на два «наивных» вопроса свидетельствует, по мнению Валлерстайна, об ошибочности тех посылок, на которых основан миф.

Во-первых, неверно выбран базовый объект исследования — государство, таковым может быть только КМЭ (СМС).

Во-вторых, «состав исполнителей» драмы современной истории неверно определён. С одной стороны, понятия буржуазии и пролетариата невероятно овеществлены. Они определяются, прежде всего, по образу, подобию и в терминах частного варианта, имевшего место в Западной Европе середины XIX в.; эти понятия являются относительными, а не общими или характерологическими. Кроме того, далеко не ясно (по крайней мере, это не должно быть предположением *a priori*), что аристократия и буржуазия — два противостоящих класса, то же можно сказать о тандеме «пролетариат — крестьянство»[1].

В-третьих, — и это главное — неверна сама легенда. Вместо неё Валлерстайн предлагает новую «Сказку Нашего Времени», которая сводится к следующему. Давным-давно жили-были землевладельцы, выжимавшие прибавочный продукт из крестьян. Однако по ряду причин (о которых можно спорить) между 1250 и 1300 гг. эта система стала испытывать серьёзные трудности:

---

[1] *Wallerstein I.* Economic Theory and History // 8th International Economic History Congress: Papers. — Budapest, 1982. — P. 22.

«сделочная позиция» крестьянства в отношениях с феодалами за два последующих столетия значительно улучшилась. Отчасти это произошло в результате действий крестьян (восстания), отчасти из-за демографического спада, наступившего в результате Чёрной Смерти (что увеличило ценность квалифицированной рабочей силы), отчасти из-за уничтожения аристократии в междоусобицах (результат экономического давления). Это был так называемый кризис феодализма, известный также как кризис сеньориальных доходов.

Политически ослабевшая аристократия опасалась, что события развиваются в направлении «кулацкого рая». Стратегией изменения эволюции стало превращение феодальной системы в КМЭ, в принятие иного способа производства, в котором изъятие прибавочного продукта у непосредственных производителей было бы не столь откровенным, как в прежней системе. Эта стратегия предполагала «конверсию» феодальных землевладельцев в предпринимателей капиталистического типа, прежде всего в сельском хозяйстве, а затем в промышленности, торговле, финансах. Таким образом, произошло вовсе не свержение аристократии буржуазией, как полагали либералы и марксисты, а превращение аристократии в буржуазию[1]. Основная тенденция не меняется от того, что в буржуазию «пробились» некоторые простолюдины, а многие аристократы не смогли сделать этого или даже препятствовали «буржуазификации». Это в значительной степени объясняет постоянные конфликты внутри высшего слоя в течение следующих столетий. В целом же превращение было успешным не только политически и социально, но и экономически.

Таким образом, возникновение КМЭ, резко изменив характер разделения труда и распределения доходов, спасло господствующие классы феодальной (постфеодальной?) Европы. Однако, возникнув, КМЭ оказалась принципиально иной системой, чем предшествовавшие ей, как по характеристикам, так и по принципам (моделям) функционирования. Согласно Валлерстайну, эти характеристики и принципы заключаются в следующем.

Капиталистическая мир-экономика: Ядро, периферия, государства

КМЭ есть система постоянного, безостановочного накопления капитала. Её главная цель — саморасширение[2]. Объективная тенденция развития КМЭ — товаризация всего мира, объекты которой, преж-

---

[1] *Wallerstein I.* Economic Theory and History... — P. 23.
[2] *Wallerstein I.* Historical Capitalism. — L.; N.Y.: Verso, 1989. — P. 13–14.

де всего, рабочая сила и земля; параллельно с товаризацией развиваются процессы коммерциализации и механизации.

В то же время, предупреждает Валлерстайн, завершение процесса товаризации, реализация социальной программы капитализма будут означать конец КМЭ. В связи с этим в стратегическом стремлении к бесконечному накоплению капитала и в тактических попытках притормозить, «подморозить» этот процесс автор «Современной мир-системы» видит коренное противоречие капитализма. Кстати, сохранение и значительная роль в воспроизводстве капитала в КМЭ наряду с наёмным трудом ненаёмных форм труда — домашнего хозяйства, — обусловлены, помимо прочего, этим «тормозящим» движением, т.е. самой логикой развития капитализма.

По мере охвата капиталом и товаризацией определённого пространства и насыщения рынка товарами спрос падал и норма прибыли снижалась. Стремясь компенсировать потери и/или увеличить прибыли, капиталисты расширяли охваченное капиталом пространство и, что не менее важно, переносили производство в зоны с более низким уровнем оплаты труда. Таким образом, заключает Валлерстайн, КМЭ самой логикой накопления капитала была обречена на территориальное расширение, на периферизацию мира, причём экспансия эта происходила не равномерно, а толчками, пульсациями. Основные периоды экспансии КМЭ, начиная с её возникновения — 1450–1520, 1620–1660, 1750–1815, 1880–1900 гг.[1] Периферизация мира, необязательно означавшая колонизацию, завершилась в начале XX в. КМЭ достигла своих пределов и отреагировала на это мощным кризисом — мировой войной и «Великой депрессией 1929–1933 гг., с которыми связано рождение коммунизма и фашизма. В 1914 г. КМЭ вступила в финансовую фазу своего существования.

Процесс постоянной экспансии КМЭ создаёт структуру осевого разделения труда между ядром (сердцевиной — *core*) и периферией. Разделение труда и «ядровость» — «периферийность» обусловлены той или иной формой неравного (неэквивалентного) обмена, который является пространственным, но, подчёркивает Валлерстайн, необязательно соответствует тому, о чём писал А. Эммануэль.

Акцентируя значение отношений «ядро (центр) — периферия», Валлерстайн в разработке МСА находится в русле традиции, восходящей к Р. Пребищу, П. Бэрэну и А.Г. Франку. Ядро — это, грубо говоря, зона, приобретающая при обмене часть прибыли, а периферия — зона, теряющая её[2]. Ядро и периферия суть звенья вертикальной интеграции товарной цепи. Истори-

---

[1] Patterms of Development of the Modern World-System: Research Proposal // Review. — Binghamton (N.Y.), 1977. — Vol. 1, No. 2. — P. 125.

[2] *Wallerstein I.* Historical Capitalism. — L.; N.Y.: Verso, 1989. — P. 32.

чески расширяясь, КМЭ превращала в свою периферию всё большую часть мира, пока не охватила его полностью. В XX в. чётко оформились «мировое ядро» и «мировая периферия».

За пятисотлетнюю историю КМЭ только 10–20% мирового населения (жители ядра) значительно увеличили свои доходы и повысили уровень жизни. Уровень доходов «остальных» 80–90% снизился, а качество жизни ухудшилось по сравнению с тем, что было в этих зонах до 1500 г.[1]

Наряду с ядром и периферией Валлерстайн выделяет третью зону — полупериферию, государства которой обладают частично признаками ядра, частично — периферии. Полупериферия — необходимый элемент КМЭ, опосредующий отношения между центром и периферией. Это наиболее подвижная зона КМЭ: в то время как наличие полупериферийной зоны, пишет Валлерстайн, — константа, положение отдельного государства в ней — переменная, обусловленная конкуренцией, борьбой и т.д. Именно здесь наиболее очевидна та особая роль, которую играет государство в КМЭ.

Валлерстайн подчёркивает, что капитализм — это не беспредел рыночной стихии. Ф. Бродель вообще считал, что «капитализм — враг рынка». Капитализм есть постоянная борьба за монополию, за обеспечение монопольного положения как на мировом, так и на внутреннем рынках. Государство есть инструмент, средство и фактор этой борьбы за монополию. Существует чёткая корреляция между той или иной зоной, с одной стороны, и силой и эффективностью государства — с другой. «Концентрация капитала в зоне ядра создавала одновременно фискальную основу и политический стимул для появления относительно сильных государственных механизмов, среди многих способностей и задач которых было ослабление государственных механизмов периферии»[2]. Они могли оказывать давление на периферийные государства, чтобы заставить их принять или даже развивать такие формы специализации труда, которые находились в нижней части иерархии товарных цепей (использование низкооплачиваемого труда и т.п.). Таким образом, государство играло решающую роль в создании различных уровней оплаты труда, совпадавших с тремя основными зонами КМЭ.

Политологи — критики Валлерстайна (А. Золберг, Ч. Тилли) ставят этот вывод под сомнение, полагая, что американский учёный, используя экономдетерминистскую логику, принижает автономный характер развития государства, игравшего, по их мнению, не вторичную, а первичную роль и определявшего, какое именно общество станет центром КМЭ. В свою очередь, те, кто работает в рамках парадигмы классов и способов производства

---

[1] См.: *Wallerstein I.* Development: Lodestar of Illusion // Economic and Political Weekly. — Bombay, 1988. — Vol. 28, No. 39. — P. 2017–2023.

[2] *Wallerstein I.* Historical Capitalism. — L.; N.Y.: Verso, 1989. — P. 32.

(Р. Бреннер), считают, что сама сила государства была обусловлена конкретными результатами борьбы классов в XV–XVII вв. Валлерстайн же, напротив, стремится доказать, что исход классовой борьбы (а следовательно, характер и степень эффективности государства) определяется местом в КМЭ, в системе зонального разделения труда. Таким образом, круг замыкается, и в спорах внутри и вне МСА эта ситуация остаётся недостаточно прояснённой.

Подчёркивая, что он далёк от недооценки роли государства, Валлерстайн в то же время считает: государство, а также классы, национально-этнические статусные группы и домашние хозяйства не являются первичными, изначальными субстанциями, они суть зависимые элементы, легко переходящие друг в друга (и это ещё одно свидетельство их функциональности). В то же время они образуют тот институциональный водоворот (*vortex*), который представляет собой одновременно результат и условие капиталистической системы как экономического и морально приемлемого комплекса[1].

В схеме Валлерстайна государство играет решающую роль в КМЭ как фактор обеспечения не только внешней, но и внутренней экспансии, гарантирующий внутри того или иного общества власть представителей одних расовых, этнических и половых групп над другими. Государство, таким образом, становится средством реализации таких кардинально важных механизмов функционирования КМЭ, как расизм и сексизм. Валлерстайн подчёркивает, что расизм — это не ксенофобия, а внутристрановой коррелят того, что на мировом уровне выступает как слаборазвитость. Расизм, как и слаборазвитость, есть проявление фундаментального процесса, организующего историческую систему капитализма, — процесса, удерживающего одни группы вне системы или на её периферии и в то же время позволяющего другим группам существовать внутри системы или в её центре. Если в докапиталистических обществах действовал принцип включения одних групп и исключения (вплоть до истребления) других, то в государствах КМЭ ситуация иная. Здесь существует целый ряд профессий, занятий и позиций, которые неодинаково вознаграждаются и который имеют два измерения: классовое, — оно в самом общем смысле сводится к уровню дохода, и этническое, причём каждая этническая группа социально ранжирована[2]. Как правило, группы, относящиеся к категории социально «низших», являются «низшими» и этнически. Именно в этом Валлерстайн видит корни явления, называемого расизмом.

---

[1] *Wallerstein I.* State in the Institutional Vortex of the Capitalist World-Economy // International Social Science Journal. — P., 1980. — Vol. 32, No. 4. — P. 750.

[2] *Wallerstein I.* The Myrdal Legacy: Racism and Underdevelopment // Cooperation and Conflict. — L., 1989. — No. 24. — P. 4.

Классовость и этничность, или О роли расизма и национализма в КМЭ

Существует корреляция, пишет Валлерстайн, между «классовым» и «этническим» ранжированием, с одной стороны, и наличием различных «классовых» и «этнических» групп определённых политических прав — с другой. Низшие группы могут юридически или фактически быть лишены прав гражданства и формируют «классово-этническую низшую страту». В силу широкой распространённости этого явления любые частные объяснения его причин некорректны. Если бы из КМЭ исчезли расизм и этническое сознание, а неравное распределение факторов и результатов производства и неравенство вообще оправдывались бы только в классовых терминах, то стало бы ясно, что равенство возможностей — обман, так как доход распределяется несправедливо.

Такой вывод, согласно Валлерстайну, ставил бы под сомнение господствующую в КМЭ идеологию. Однако если исключить этническое измерение, ситуация, по крайней мере внешне, становится более благовидной, приемлемой для большей части населения, особенно при сравнении с необходимостью «найти» низший класс, к которому можно относиться как к неграм даже при отсутствии этнического измерения (в качестве примера американский учёный приводит проблему жителей Квебека как «белых негров» Канады). В такой ситуации расизм обеспечивает единственно приемлемую легитимность широкомасштабному коллективному неравенству в рамках идеологических ограничений, налагаемых КМЭ. Легитимность обеспечивается теоретическим обоснованием переходной природы неравенства и практическим отнесением реальных изменений в далёкое будущее. Официальное объяснение таково: этнически низшие группы оказываются в их положении по причине несчастного, но теоретически устранимого культурного наследия; поскольку это наследие не биологическое, общество может поздравить себя с преодолением расизма (в его грубой форме); поскольку же устранение этого наследия будет медленным, общество может спокойно существовать, принимая неравенство (социальное и расовое) как социокультурную данность.

Принципиальная возможность изменения низшего статуса посредством политической борьбы создаёт такой механизм этнического сознания, который исходно ориентирован на эту борьбу низшей страты. Но в то же время эта возможность, верно подчёркивает И. Валлерстайн, усиливает социализацию представителей низшей страты в роли угнетённых. Это противоречие этнизации рабочей силы придаёт больше гибкости и эффективности функционированию капиталистической системы. Потребность в рабочей силе в той или иной её подсистеме часто удовлетворяется посредством редефиниции (повышения и понижения статуса) этнических групп.

Расизм, как считает Валлерстайн, регулирует перемещение социальных групп от центра общества к периферии и обратно двумя способами: сведением к минимуму политических возможностей низших групп, удержанием этих групп на социальной периферии таким образом, чтобы, с одной стороны, в случае необходимости их можно было использовать, а с другой — чтобы они сами хотели этого (посредством интериоризации ценностей господствующих групп и т.п.).

Функцию, выполняемую расизмом внутри отдельного государства, на межгосударственном, мир-системном уровне выполняет слаборазвитость. Осевое разделение труда между ядром и периферией имеет как классовое, так и этническое измерение, причём на мировом уровне, в отличие от национального, они меняются местами: очевидна прежде всего этническая иерархия. Отсталость Третьего мира часто объясняют в терминах культуры и образования. Последнее объявляется «лекарством», и предполагается, что западное образование позволит остальным обществам завтра догнать Запад, но «завтра» никак не наступает, а всё больше удаляется.

По мнению Валлерстайна, националистическое сознание Третьего мира играет на мировом уровне роль, аналогичную роли этнического сознания на внутригосударственном уровне: оно организует народ(ы) на борьбу против неравенства и в то же время приучает к нему как к фактору реальной власти в КМЭ. В немалой степени этому способствует постоянная редефиниция этнических групп в КМЭ в соответствии с потребностями последней. В результате вчерашние «средиземноморцы» становятся сегодняшними европейцами, японцы (вчерашние лидеры «жёлтой орды») — «почётными белыми», и кто знает — быть может, сегодняшние шведы когда-нибудь опять станут «бледнолицыми варварами». Короче, этническая и расовая принадлежность в КМЭ постоянно меняет свои статусные определения. В период спада и сжатия мировой экономики целые народы выталкиваются из неё как этнически неполноценные; в период роста и расширения (экспансии) часть их «впускают» назад[1].

«Дилеммы» расизма и слаборазвитости остаются «неразрешимыми», потому что никто не заинтересован в их «решении». Кроме того, как либералы, так и радикалы (революционеры) демонстрируют неспособность к этому. Более того, поскольку в условиях слабости государства периферийных обществ полюсом-заменителем выражения классовых интересов или формирования солидарности статусных групп становится расовая, этническая (национальная) и языковая принадлежность[2], расово-этническое измерение со-

[1] *Wallerstein I.* Marx, Marxism-Leninism, and Socialist Experiences in the Modern World-System. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1989. — P. 9.

[2] *Wallerstein I.* State in the Institutional Vortex of the Capitalist World-Economy // International Social Science Journal. — P., 1980. — Vol. 32, No. 4. — P. 745.

циальных отношений в КМЭ закрепляется институционально, причём даже в движениях протеста — антисистемных движениях.

Валлерстайн считает антисистемные движения интегральным элементом КМЭ. К ним он относит рабочее движение в промышленно развитых странах (социал-демократия), коммунистическое движение (страны «реального социализма») и национально-освободительное движение[1]. Внося напряжение в СМС в краткосрочной перспективе, в среднесрочной перспективе антисистемные движения становятся фактором её стабилизации. Стабилизирующая функция усиливается в случае прихода антисистемных движений к власти, как это произошло в период их триумфа в 1945–1968 гг.: социалистические и социал-демократические правительства на Западе, оформление социалистического лагеря, завоевание государственного суверенитета национально-освободительными движениями в Азии и Африке.

Однако во второй половине 1960-х годов начался кризис антисистемных движений и структур, интегрировавшихся в СМС, внутри них возникли «новые» антисистемные движения как реакция на неспособность «старых» обеспечить успех экономического развития в национально ограниченных рамках[2]. Упадок марксизма-ленинизма в 1970–1980-х годах Валлерстайн связывает именно с тем, что он был идеологией национального развития, иллюзорность которого со всей очевидностью выявилась на рубеже 70–80-х годов[3].

Ещё один фактор, обусловивший трудности антисистемных движений (и в то же время организации сопротивления им со стороны буржуазии), Валлерстайн видит в следующем противоречии. Как буржуазия, так и пролетариат ядра и периферии формируют и выражают своё самосознание на таком уровне, который не отражает их объективной экономической роли. Поскольку их интересы являются функцией КМЭ, они стремятся укрепить свои по-

---

[1] *Arrighi G., Hopkins T., Wallerstein I.* Dilemmas of Antisystemic Movements // Social Research. — N.Y., 1986. — Vol. 53, No. 1. — P. 186–189.

[2] Думаю, кризис середины 1960-х годов, который имеет в виду И. Валлерстайн применительно к СССР и соцлагерю, имел совершенно иную природу, чем описываемая американским учёным. Во-первых, если говорить об экономических показателях национального развития, то в 1960-е — первая половина 1970-х годов было лучшим временем в истории СССР, пиком его экономического развития; так что подвёрстывать соцлагерь 1960-х годов под некий «общемировой кризис антисистемных движений» ошибочно. Во-вторых, советская (прежде всего сталинская и — по инерции — 10–15 лет после его смерти) стратегия была ориентирована не столько на национальное развитие (это — средство), а на мировое — создание альтернативной мировой социалистической системы, а в перспективе — глобальной коммунистической. Если 1960-е годы что и выявили, так это пределы (если не невозможность) глобализации коммунизма, т.е. обеспечения не национального, а мирового развития, а это совсем другое, чем то, что имеет в виду Валлерстайн.

[2] См.: *Wallerstein I.* Marx, Marxism-Leninism, and Socialist Experiences in the Modern World-System. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1989. — P. 37.

зиции, используя аппарат государства, реальная сила которого ограничена с точки зрения воздействия на мир-экономику в целом[1]. Поэтому-то захват антисистемными движениями государственной власти мирным или немирным путём, замыкание на государстве прочно «встраивает» их в межгосударственную систему современного мира и заставляет функционировать в качестве её элемента даже в том случае, когда они стремятся её разрушить.

Зависимость антисистемных движений от КМЭ в целом наглядно, по мнению Валлерстайна, проявляется в том, что они пришли к власти в основном во время А-фазы Кондратьевского цикла (1945–1968 гг.), совпавшей с периодом гегемонии США в СМС. И здесь мы подходим к двум очень интересным и взаимосвязанным аспектам мир-системной перспективы: циклы и тренды в их конкретном виде (кондратьевские и логистические циклы) и гегемонии в СМС. Длинные волны и гегемония занимают центральное место в работах Валлерстайна.

Капиталистическая мир-экономика: Циклы, тренды, гегемонии

Среди различных циклов — Дж. Китчина (2–3 года), К. Жуглара (6–10 лет), С. Кузнеца (15–20 лет), Н. Кондратьева (45–60 лет), Р. Камерона (150–300 лет) — Валлерстайн обращает особое внимание на два последних, связывая кондратьевские циклы — длинные волны — с накоплением капитала и нормой прибыли. По его мнению, длинные волны — это циклы мировой прибыли. Цикл делится на А-фазу и Б-фазу, но Валлерстайн считает обманчивой терминологию, квалифицирующую А-фазу как «положительную», а Б-фазу как «отрицательную». Во-первых, и подъём и спад — относительны. Во-вторых, «положительность» и «отрицательность» фаз могут быть установлены только с точки зрения мировой нормы прибыли, накопления капитала в КМЭ в целом.

С точки зрения отдельных социальных групп (классов) и зон в КМЭ простая корреляция между «положительностью» и «отрицательностью» отсутствует. Хотя в целом А-фаза — более счастливое время для населения мира, чем Б-фаза, каждая из них имеет свои положительные и отрицательные аспекты с точки зрения благосостояния отдельных групп и секторов населения. В Б-фазе может произойти снижение оплаты труда служащих, но повышение оплаты труда рабочих; в одних зонах — падение производства, в других — рост. Таким образом, необходимо отказаться от эмоционального под-

[1] *Wallerstein I.* State in the Institutional Vortex of the Capitalist World-Economy // International Social Science Journal. — P., 1980. — Vol. 32, No. 4. — P. 749.

хода к циклам в пользу более аналитического[1]. В-третьих, с точки зрения КМЭ как исторической системы Б-фаза — важный элемент её существования. Если А-фаза — это вдох (нововведения, вложения, экспансия), то Б-фаза — это выброс «углекислого газа» (устранение слабых линий производства и т.п.). С этой точки зрения обе фазы «положительны».

Циклический характер движения мировой прибыли Валлерстайн объясняет следующим образом. Естественно ожидать, пишет он, что производители капиталистической системы будут стремиться приспособить производство к своим прогнозам прибыльности. Если предполагается повышение спроса на товары, производители будут расширять производство (или на рынок придут новые производители). По мере того как производство расширяется (до тех пор, пока мировой спрос не изменится), дальнейшее производство автоматически уменьшает собственный *raison d'être*. Само производство не создаёт спроса, иначе мы жили бы в экономически «спокойном» и неизменном мире. Оно не создаёт спроса потому, что последний — это функция распределения продукта, которое, в отличие от колебаний предложения, не есть следствие индивидуальных решений, принятых с «прицелом» на накопление. Распределение продукта происходит на социально-политической арене и является результатом соотношения сил соперничающих классов и страт на глобальном и локальном уровнях. Столкновение интересов носит постоянный характер, однако острая борьба чередуется с «передышками», что ведёт к компромиссам, действующим в течение среднесрочных периодов.

Постоянное колебание предложения в комбинации с непостоянным колебанием спроса — вот что, по мнению Валлерстайна, порождает среднесрочный кондратьевский цикл. Цикл нововведений — часть этой модели. Когда несоответствие между спросом и предложением становится острым (перепроизводство или насыщение спроса), необходим либо поиск средств для сокращения издержек производства, либи риск введения новых производственных линий.

В отличие от тех, кто ищёт чисто экономический ответ на вопрос, почему период мирового несоответствия между спросом и предложением (двухфазовый кондратьевский цикл) длится 45–60 лет, Валлерстайн отводит решающую роль политическим факторам, борьбе государств за гегемонию в СМС. Формально это не нарушает логику его подхода, поскольку, как мы видели, государство трактуется им как функциональная переменная КМЭ. По его мнению, для того чтобы общий результат политической борьбы в различных частях КМЭ привёл к увеличению мирового спроса, который, в свою

[1] *Wallerstein I.* The Politics of the World-Economy: the States, the Movements, the Civilizations. — Cambridge, 1984. — P. 21.

очередь, является главным элементом в «запуске» А-фазы после длительного спада, необходим достаточно длительный период времени. Поэтому ни в периодичности фаз, ни в их длительности нет ничего магического и невероятного. Такое объяснение учёный подкрепляет увязкой кондратьевских циклов с вековыми трендами и циклами борьбы за гегемонию.

Валлерстайн использует идею Р. Камерона о вековых трендах (логистических циклах), которые также имеют А-фазу и Б-фазу. Р. Камерон выделял следующие циклы: IX–X вв. н.э. — середина XV в.; середина XV в. — середина XVIII в.; середина XVIII в. — середина XX в.; 1945 г. — ?[1]. Вековые тренды ещё в большей степени, чем кондратьевские циклы, связаны с движением цен. Валлерстайн не склонен проводит жёсткую разграничительную линию между «вложениями в инфраструктуру» и «вложением в контроль над мировым рынком», требующим более длительного времени. По сути, это одно и то же, так как они поддерживают в КМЭ такое явление, как гегемония.

Гегемония, возникающая в межгосударственной системе, отражает такую ситуацию, когда одна из великих держав может навязывать свои правила и волю другим. Материальная база гегемонии — бóльшая эффективность данного государства в агроиндустриальном производстве, торговле и финансах, что обеспечивает не только господство на мировом рынке, но и активное проникновение на внутренние рынки других стран[2]. Гегемония — это не столько состояние, сколько конечная фаза подвижного континуума, характеризующего отношения между великими державами. В начале континуума — острая конкурентная борьба в условиях относительного равновесия сил. Гегемония, не будучи абсолютно всесильной в межгосударственной системе, в то же время отражает способность определённого государства превратить одну часть членов межгосударственной системы в клиентов, а другую — «загнать» в оборонительную позицию.

Гегемония не есть результат случайного расклада карт на мировой арене. Она возникает как элемент нормального функционирования КМЭ, которая знала лишь три гегемонии: Соединённые провинции (Голландия) (1620–1672 гг.), Великобритания (1815–1873) и США (пик — 1945–1967/73 гг.)[3]. Т. Хопкинс вносит уточнение в эту схему: в то время как голландскую гегемонию, политически оформившую КМЭ, он считает реальной исторической альтернативой мир-империи Габсбургов, британская гегемония существовала уже в рамках КМЭ. В какой-то степени альтернативами были неудавшие-

---

[1] *Hopkins T., Wallerstein I.* (coordinators). Cyclical Rhythms and Secular Trends of Capitalist World-Economy: Some Premises Hypotheses and Questions. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1978. — P. 10–11.

[2] *Wallerstein I.* The Politics of the World-Economy: the States, the Movements, the Civilizations. — Cambridge, 1984. — P. 39.

[3] Ibid. — P. 40.

ся империи Наполеона и Гитлера, но об этом можно спорить. Таким образом, голландская гегемония сделала возможной саму КМЭ как историческую социальную систему; британская гегемония укрепила её фундамент; гегемония США максимально расширила и углубила КМЭ и в то же время высвободила те силы, которые должны привести СМС к концу[1]. Гегемония, по Валлерстайну, характеризуется четырьмя особенностями.

1. Последовательность достижения и утраты гегемонии: агропромышленная сфера — торговля — финансы. При этом период максимальной гегемонии падает на её окончание в агропромышленной сфере, на разгар — в торговле и на начало — в финансовой сфере. Утрата финансовой гегемонии есть, как правило, утрата гегемонии вообще или близкое к этому состояние.

2. Политико-идеологическая защита всеми державами-гегемонами «глобального либерализма»; акцентирование принципа «свободной торговли» в ущерб меркантилизму.

3. Военно-морское преобладание державы-гегемона; в период восходящей гегемонии будущий гегемон крайне неохотно создавал сухопутные армии и делал это лишь тогда, когда сталкивался с противником, стремившимся превратить КМЭ в мир-империю.

4. Гегемония обеспечивается в ходе мировых войн, которые длились, как правило, 30 лет. В Тридцатилетней войне (1618–1648) голландские интересы взяли верх над интересами Габсбургов, в Наполеоновских войнах (1792–1815) англичане одержали верх над французами, а в тридцатилетних евразийских («американо-германских») войнах США победили Германию.

К сожалению, Валлерстайн ничего не говорит о роли России — СССР во всех этих войнах. Похоже, для мир-системников Россия/СССР не только как решающий фактор, но просто как фактор войн за гегемонию в КМЭ не существует[2].

Для Валлерстайна несомненна связь циклов гегемонии с вековыми трендами. При взгляде на них, например на Б-тренд (1450–1650 гг., 1810–1817 гг. и 1897–?), становится ясно, что мировая война и следующая за ней эра гегемонии расположены где-то около (сразу до или после) плато. Короче говоря, эти процессы суть результаты длительной конкурентной экспансии, приводящей к особой форме концентрации экономической и политической власти.

---

[1] *Hopkins T.* Note on the Concept of Hegemony // Review. — Binghamton (N.Y.), 1990. — Vol. 13, No. 3. — P. 411.

[2] Критику «изъятия» России/СССР из мировых войн в качестве решающего фактора см.: *Фурсов А.И.* Колокола Истории... — С. 381–390; *его же:* Европейская система государств, англосаксы и Россия // Дехийо Л. Хрупкий баланс. Четыре столетия борьбы за господство в Европе. — М.: КМК, 2005, 2005. — С. 27–48; *его же:* Третий Рим против Третьего рейха: третья схватка. Советско-германский покер в американском преферансе // Политический класс. — М., 2006. — № 6. — С. 83–91; № 7. — С. 88–97.

Исход каждой мировой войны включал крупную перестройку межгосударственной системы (Вестфальский мир, концерт европейских держав, ООН и Бреттон-Вудские соглашения) в форму, соответствующую сохранению относительной стабильности в интересах державы-гегемона. По мере ослабления экономических позиций гегемона размывалась и система военно-политических союзов.

В длительный период упадка гегемонии появлялись два претендента на «корону»: Англия и Франция в «послеголландскую» эпоху; США и Германия — в «послебританскую». Будущий победитель в качестве элемента своей «победной стратегии» использовал союз с приходящим в упадок гегемоном: сначала в качестве младшего партнёра, а затем — в качестве старшего.

В государстве, берущем на себя роль гегемона, его усилия укрепляют одновременно предпринимателей и бюрократию, а также, с небольшим запозданием, рабочий класс (по крайней мере, его «белую» расово-этническую часть). Однако глобальный либерализм, убеждён Валлерстайн, порождает и собственный упадок. Во-первых, он всё более затрудняет торможение распространения технических достижений. Во-вторых, внутриполитической ценой либерализма, необходимого для поддержания непрерывности производства во время максимального глобального накопления, является постепенный рост реальных доходов как рабочего класса, так и административных кадров державы-гегемона. Со временем это ослабляет конкурентоспособность фирм, и как только утрачено преимущество в производительности труда, структура рушится, наступает период равновесия и обострения конкуренции.

Итак, цикл гегемонии, по мнению Валлерстайна, довольно чётко коррелирует с логистическими циклами: медленный рост гегемонии, совпадающий с долгосрочным приобретением относительного экономического превосходства (восходящая гегемония) и кульминирующий в «мировой» (тридцатилетней) войне. Последняя окончательно фиксирует гегемонию и реструктурирует межгосударственную систему. За этим следует упадок относительных преимуществ и эффективности и наступление конца краткосрочной фазы истинной гегемонии с последующим возвращением к нормальному состоянию соперничества между государствами. Этим заканчивается один вековой тренд и начинается новый.

Поскольку циклические ритмы никогда не бывают симметричными, они составляют вековые тренды, которые в своём развитии ведут к бифуркации, упадку исторической системы и переходу её в другую историческую систему. В переходный период циклические ритмы не перестают действовать; напротив, именно их функционирование подталкивает переход. Вот в такой переходный период и вступила, по мнению Валлерстайна, КМЭ (СМС) в 1967–1973 гг.: начался упадок гегемонии США.

В 1990-х годах Валлерстайн много писал об упадке гегемонии США (в 2003 г. вышла его книга «Упадок американского могущества»[1]), подводит итоги послевоенного (1945–1991 гг.) периода и даёт прогноз на ближайшие 25–50 лет.

О, прекрасные времена Холодной войны, или «Прощай, зелень лета XX в.» (1945–1991)

«Будем ли мы испытывать тоску по прошлому?» — ставит вопрос американский учёный и отвечает: «Боюсь — должны. Мы вышли за пределы эры гегемонии США в мир-системе и вступили в эпоху постгегемонии. Сколь бы тяжёлым ни было положение в ту эру Третьего мира, уверен, что ему предстоит пережить гораздо худшие времена. Прошлое было временем надежд — несомненно, обманутых, но всё же надежд. А теперь наступает смутное время борьбы, порождённой скорее отчаянием, чем уверенностью»[2].

1945–1967/73 гг. — кондратьевская А-фаза, с которой совпал пик гегемонии США. Она была следствием трёх взаимосвязанных факторов: постепенной (начиная с 1865 г.) концентрации энергии нации на усовершенствовании процесса производства и технологических нововведениях; свободы США до 1941 г. от сколько-нибудь значительных военных расходов; эффективной мобилизации ресурсов в 1941–1945 гг. при отсутствии разрушений инфраструктуры. Всё это создало для США возможность беспрецедентного 25-летнего процветания[3].

Гегемония США, согласно Валлерстайну, покоилась на двух основаниях: межгосударственный союз с другими индустриальными странами Запада на внешней арене; «государство всеобщего благосостояния» — на внутренней. К этому он добавляет идеологическую и культурную гегемонию: США выступали в качестве носителя идеалов политического либерализма и борца с тоталитаризмом. Не случайно американцам удалось то, чего не смогли сделать даже англичане за время своей гегемонии над миром: превратить английский язык в *lingua franca* СМС.

У Валлерстайна — своя интерпретация противостояния «США — СССР» вообще и Холодной войны в частности. Внешне, пишет он, США и СССР

---

[1] *Wallerstein I.* The Decline of American Power: The US in a Chaotic World. — N.Y.: N.Y. Press, 2003.
[2] *Wallerstein I.* The Cold War and the Third World: The Good Old Days. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1990. — P. 1.
[3] *Wallerstein I.* America and the World: Today, Yesterday, Tomorrow. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1990. — P. 2.

выступали как непримиримые идеологические противники, «сцепившиеся» в Холодной войне. Однако, во-первых, эта Холодная война началась не в 1946 г., а в 1917 г., и на самом деле, как подчёркивает Валлерстайн, после мировой войны 1939–1945 гг. реальная политика США по отношению к СССР не изменилась — изменилась лишь риторика[1]. Во-вторых, глубинное содержание американо-советского противостояния и Холодной войны было не то чтобы ложным или искусственным, но представляло собой молчаливый уговор, устраивавший прежде всего США, ну а затем и СССР. Уговор был простым: СССР отводилась зона в Европе, ограниченная «железным занавесом», где ему предоставлялась свобода делать что угодно, прежде всего создавать режимы-сателлиты; США не смогли бы «вытянуть СССР», им хватало Западной Европы и Японии. В этом смысле, считает американский учёный, «Ялта представляла чистую экономическую выгоду для США в краткосрочной перспективе»[2].

Холодная война строилась на соблюдении двух условий. Во-первых, обе зоны — советская и американская — должны быть зонами абсолютного межгосударственного мира; правительства одной зоны не должны пытаться подорвать власть правительств другой зоны. Во-вторых, СССР не должен был рассчитывать ни на какую помощь США в послевоенном восстановлении, но был свободен «качать» ресурсы в виде репараций из стран Восточной Европы и к тому же получил возможность ослабить те компартии, которые были наиболее сильны. Показательно, что в Восточной Европе репрессии обрушились прежде всего на коммунистов Чехословакии, обладавших реальной силой. Я оставляю без комментариев эти тезисы Валлерстайна — контраргументы заняли бы много места; ограничусь констатацией: мне они представляются весьма уязвимыми.

Не случайным Валлерстайн считает и то, что в тех странах, где СССР не смог воспрепятствовать приходу коммунистов к власти (Албания, Югославия, Китай), компартии впоследствии пришли к открытому разрыву с КПСС и СССР. Вывод советских войск из Ирана в 1946 г. и отказ СССР поддержать восстание греческих коммунистов Валлерстайн объясняет антикоммунистическими интересами внешней политики СССР, которая устраивала США. (Думаю, и здесь американский учёный ошибается, речь должна идти о чистой геополитике.) Поэтому, пишет он, правильнее «доктрину Брежнева» называть «доктриной Брежнева – Джонсона», так как после вторжения в Чехословакию Джонсон при всём моральном негодовании, по сути, дал Брежневу гарантии невмешательства США, — ему было необходимо, чтобы СССР

---

[1] *Wallerstein I.* Marx, Marxism-Leninism, and Socialist Experiences in the Modern World-System. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1989. — P. 9.

[2] *Wallerstein I.* America a. the World: Today, Yesterday, Tomorrow. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1990. — P. 7.

продолжал нести бремя империи[1]. Всё это не только заставляло СССР тратить средства, но и служило (особенно сталинизм) для США идеологическим оправданием их гегемонии в мире. При этом, как подчёркивает Валлерстайн, большинство наблюдателей, всерьёз принимавших противостояние «Медведя» и «Орла», упускали из виду, что сталинизм и СССР в целом оказывали не столько «поджигательское» (несмотря на риторику), сколько стабилизирующее воздействие на антисистемные (антиимпериалистические) силы в Третьем мире, по сути гарантируя Западу в лице США порядок в той части мира, которую Запад не контролировал политически или даже экономически. Поэтому, отмечая, что, например, в 1949 г. американцев волновала не проблема того, что будет, если КНР станет марионеткой СССР, а проблема того, что будет, если КНР не станет ею, Валлерстайн настойчиво подчёркивает: СССР, по сути, выполнял для США функции «субимпериалистической» державы.

Думаю, такой вывод — полемический перегиб. От «симбиотического» отношения выигрывали в той или иной степени обе стороны. Тезис Валлерстайна был бы корректен, если бы было доказано, что США получили от указанных отношений с СССР намного бóльшую выгоду, т.е. что отношения носили асимметричный характер. Валлерстайн, на мой взгляд, смешивает два разных измерения — экономическое и военно-политическое. Поскольку СССР для него всего лишь полупериферия СМС и поскольку сама СМС, по сути, сводится к экономическому измерению, в котором растворяется всё остальное, поскольку у американского учёного СССР автоматически оказывается субимпериалистической державой, противостояние которой единственной в таком случае (империалистической) сверхдержаве — США — становится искусственным, чем-то вроде борьбы нанайского мальчика с медведем. Но такой тезис нужно всерьёз доказывать. Конкретная история советско-американского противостояния не подтверждает тезис Валлерстайна — всё было намного сложнее, чем это представляется американскому профессору. И даже если принять его вывод о том, что если некая зона экономически выступает экономической полупериферией СМС, военно-политически она может быть иной, внешней системой, системным антикапитализмом, что разумеется, создаёт серьёзнейшее противоречие, которое и надо исследовать.

Оставляя в стороне вопросы о том, может ли в принципе существовать антикапиталистический субимпериализм как постоянное, а не ситуационное явление, отмечу следующее. Коммунизм как социальная система есть не что иное, как отрыв функции капитала от его содержания, и возможен он лишь как система отрицания капитализма[2]. Поэтому подавление последнего и

[1] *Wallerstein I.* Marx, Marxism-Leninism, and Socialist Experiences in the Modern World-System. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1989. — P. 10.

[2] См.: *Фурсов А.И.* Кратократия // Социум. — М., 1991. — № 8–12; 1992. — № 1–8.

приобретение функцией самостоятельной и самодовлеющей роли, автономии, динамики и логики, превращающей её в особое, отрицательное содержание, ведёт к тому, что это общество не является укладно-формационной частью капиталистической системы, а противостоит последней как системе, основанное на собственных принципах. Игнорирование этого факта Валлерстайном делает его (и других мир-системников — например, Дж. Арриги) анализ социализма как появления «полупериферийности» в СМС однобоким и уязвимым для критики[1]. Вообще нужно сказать, что анализ советского коммунизма, социалистической системы — одно из наиболее слабых и уязвимых мест МСА, в целом не ориентированного на анализ социального содержания тех или иных сегментов capсистемы. Из того, что последняя носит капиталистический характер, мир-системники делают вывод о капиталистическом характере всего в ней. Тем самым мир-системники нарушают принципы системного анализа мира, и остаётся лишь рекомендовать им прочесть из работ XIX в. «Капитал» Маркса, а из XX в. — исследования капитализма В.В. Крылова.

Р. Бреннер не случайно назвал «валлерстайнизм» «неосмитовским марксизмом» — он имел в виду тот факт, что Валлерстайна по сути не интересуют структуры производства и социальные (производственные) отношения, главное внимание, в отличие от Карла Маркса и подобно Адаму Смиту, он уделяет обмену, финансам и т.п. Бреннер во многом прав. В работах Валлерстайна мы действительно не найдём анализа сдвигов в организации производительных сил, например, от доиндустриальной системы к индустриальной в середине XIX в. и от индустриальной к научно-технической («гипериндустриальной»). А ведь это существенным образом меняет, если не ломает МСА. Дело в том, что термин «мир-система» адекватен доиндустриальной эпохе, когда у капитализирующейся Европы ещё не было соответствующей капитализму индустриальной системы производства, а следовательно, не было качественного преимущества над другими мир-системами. Доиндустриальных мир-систем может быть много, по крайне мере, несколько.

Индустриализация англосаксонского ядра (Великобритания) западной мир-системы создала условия для наступления Запада на другие мир-системы с целью их уничтожения — совпадение по времени начала Крымской и

---

[1] См., например, критику В. Заславским мир-системной интерпретации социальной природы и развития СССР. Отвергая подход Валлерстайна к вопросу возникновения социалистических государств как к псевдопроблеме, Заславский писал: «Нетрудно продемонстрировать, что на сегодняшний день социалистических систем в мировой экономике нет. Однако из этого не следует сделанный Валлерстайном вывод о том, что существует только одна система мирового уровня — капиталистическая по определению» (*Zaslavsky V.* Soviet Society and the World-System Analysis // Telos. — St. Louis, 1984/85. — No. 65. — P. 162). К тому же, заметил он далее, отношения обмена и внешней торговли вовсе не оказывают решающего влияния на характер внутреннего действия той или иной социальной системы.

Второй «опиумной» войн не случайно, то были войны против остававшихся в мире сильных мир-систем — русской и китайской. Поставить под контроль Россию и превратить в колонию Китай не удалось, однако русская и китайская мир-системы своё существование прекратили, началась интеграция России и Китая в единую (и одну-единственную) мировую систему. В результате индустриализации в «длинные пятидесятые» (1848–1867 гг.; Э. Хобсбаум назвал этот период «эпохой капитала», которую он противопоставил «эпохе революций», 1789–1848 гг., и «эпохе империй», 1873–1914 гг.) западная мир-система превратилась в подлинно мировую, отбросив дефис.

Думаю, индустриальной эпохе термин «мир-система», исходно предполагающий множественность объектов с таким названием, неадекватен. В эту эпоху возможна только одна система — мировая, и без всякого дефиса. В 1980–1990-е годы в результате научно-технической революции мировая система превращается в глобальную — ещё один качественный сдвиг в развитии производительных сил, требующий терминологической фиксации. По мир-системной логике глобализация не может быть ничем иным, как очередной (количественной) фазой экспансии, стартовавшей самое позднее в XVI в. На самом деле — здесь я согласен с М. Кастельсом и другими — глобализация есть принципиально новое явление (1980–1990-е годы), связанное с качественными изменениями в структуре производства, которые и обеспечили превращение мировой системы в глобальную. «Сухой остаток»: невнимание к производству весьма ослабляет мир-системный подход, уменьшая его познавательный потенциал пропорционально историческому развитию капитализма и делая его всё более поверхностным после середины XIX в. Как знать, не поэтому ли проект «Современная мир-система» остановился на 1830–1840-х годах, и мы так до сих пор не увидели четвёртого и пятого томов?

В определённом отношении Восток (СССР) был (или стал) «двойником» Севера, его «железной маской» для контроля значительных частей Юга. Но для элементов оппозиции — для Запада и Востока, США и СССР — их противоречия были решающими в мире, осью мирового развития. И это не было слепотой или самообманом, необходимым для того, чтобы История стала не только объективно, но и субъективно реальной и правдивой, без этого она не может существовать как процесс — факт, который был ясен столь разным людям, как Карл Маркс и Роберт Шекли. Противостояние было объективной реальностью. Сверхдержавы воевали друг с другом в Корее, Вьетнаме и Афганистане. И эта объективная форма имела реальное содержание. Проблема, однако, в том, что эти содержание и форма могли существовать и функционировать исторически лишь короткий период времени. И сегодня он остался в прошлом. Думаю, скоро многие на Западе осознают, что объективно Восток был эффективным орудием или, точнее, щитом — щитом Севера

против Юга[1]. Поэтому тем, кто на Западе и у нас радовался, что по СССР отзвонил колокол, можно вместе с Джоном Донном сказать: «Не спрашивай, по кому звонит колокол, — он звонит по тебе».

В некоторых ситуациях действия самих США можно определить — по логике Валлерстайна — как субимпериалистические, в пользу СССР (подрыв коммунистического движения в Италии и Франции в 1940-е годы, «свобода рук» в Восточной Европе). Но речь должна идти не о субимпериализме, а о нестойком симбиогенезе, которым, кстати, всегда характеризуются ситуации противостояния двух держав (так было с Англией и Францией в XIV–XV вв. или на рубеже XVIII–XIX вв.). Быть «вторым» в симбиотическом геополитическом отношении не значит быть субимпериалистическим государством, равно как не значит, что борьба между «первым» и «вторым» ведётся понарошку. Есть качественная военно-стратегическая и геополитическая разница между СССР и, например, Бразилией. Даже если принять тезис Валлерстайна, согласно которому США «изобрели» себе симбиотического «партнёра по гегемонии» (равным образом можно сказать, что СССР изобрёл себе противника для решения своих задач), то факт выбора именно СССР (а не той же Бразилии) исключает «субимпериалистический» вариант и указывает на взаимовыгодное без приставки «суб-» участие в военно-политической гегемонии. Всё это свидетельствует о более тонкой связи, чем та, на которую указывает Валлерстайн.

Идеология и идеологическая борьба с точки зрения мир-системного анализа

Реальную основу противостояния США и СССР Валлерстайн в соответствии с логикой своего подхода видит не в том, в чём, по его мнению, её находят большинство исследователей, а в ином: идеологическая борьба между двумя элементами великой антиномии XX в. — вильсонизмом и ленинизмом, между двумя конкурирующими вариантами завоевания государственного суверенитета и обеспечения «национального развития» полупериферийных и периферийных обществ. Факт, что большинство не улавливает этого, связан, как полагает Валлерстайн, с неадекватным пониманием сути развития идеологий и социалистических (и вообще антисистемных) движений в XIX в., с одной стороны, и логики развития СМС — с другой. Хотя ленинизм (большевизм) был реакцией на либеральный социализм, выступал его оппонентом на национальном уровне, «с переходом на мировой

---

[1] *Foursov A.* Will Soviet Union Stay a Union, and if so How? — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1990. — P. 40.

уровень он начинал выглядеть подозрительно похожим на либерал-социализм»[1]. Короче, Валлерстайн считает, что и вильсонизм, и ленинизм на мировом уровне выступали в качестве версий либерал-социализма. Как же это могло произойти? Ведь либерализм и социализм (в другом контексте — марксизм) суть разные идеологии. Но, отвечает Валлерстайн, во-первых, между ними есть определённое сходство; во-вторых, есть законы и логика СМС, приводящие к закономерным аномалиям.

Возникновение трёх великих идеологий Нового времени — консерватизма, либерализма и марксизма — Валлерстайн совершенно правильно связывает с Великой французской революцией, а ещё точнее — с различными реакциями на утверждённую ею нормальность самого факта изменений[2]. Первой идеологической реакцией на Великую французскую революцию стал консерватизм — стремление максимально затормозить (но не остановить) изменения. Второй реакцией как на революции, так уже и на консерватизм стал либерализм. Либералы исходили из необходимости разрыва со старым порядком и желательности развития мира посредством постепенных политических и экономических реформ. Последняя по счёту идеология — марксизм, сторонники которой отвергали индивидуалистические основы либерализма и подчёркивали значение социальной гармонии, средство достижения которой — не постепенные реформы, а социальные битвы, революции.

«В политической практике, — считает Валлерстайн, — каждая идеологическая партия старалась свести политическую сцену к дуальной форме, провозглашая фундаментальное сходство противостоящих ей идеологий»[3]. Для консерваторов либералы и социалисты были последователями прогресса, стремившимися использовать государство для манипуляции обществом. Социалисты считали консерваторов и либералов защитниками статус-кво и привилегий господствующих классов. Либералы объединяли социалистов и консерваторов как противников индивидуализма. Это было отражением отчасти политической риторики, отчасти — постоянного изменения политических союзов. Однако в основе этого лежала реальная взаимосвязь всех трёх идеологий, как углов треугольника, каждые два из которых были в чём-то сходны друг с другом при противопоставлении с третьим[4].

---

[1] *Wallerstein I.* Marx, Marxism-Leninism, and Socialist Experiences in the Modern World-System. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1989. — P. 11.

[2] См.: *Wallerstein I.* The French Revolution as a World-Historical Event // Social Research. — L. — Vol. 56, No. 1. — P. 33–52.

[3] *Wallerstein I.* Who Excludes Whom? Or Dilemmas of Antisystemic Movements. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1991. — P. 5.

[4] См.: *Wallerstein I.* The Future of the World-Economy // Wallerstein I. The Politics of the World-Economy: the States, the Movements, and the Civilizations. — Cambridge University Press, 1984. — VIII, 191 p.

Здесь не место оценивать общий подход Валлерстайна к идеологии, но одну вещь просто нельзя не отметить: американский учёный, на мой взгляд, даёт одномерные характеристики идеологиям, не анализируя их специфику с точки зрения фиксации в них соотношения капитализма и европейской цивилизации, мирового и европейского и, что самое главное, фиксации в них соотношения между содержательными и функциональными аспектами капитализма как способа производства. С особой остротой эта одномерность проявилась в его оценке марксизма, что не могло не сказаться на дальнейшем анализе марксизма-ленинизма в его работах и привело к часто неоправданному, внешнему, поверхностному сближению последнего с либерализмом.

Оставляю в стороне вопрос о том, что марксизм остро выразил противоречие между цивилизационным и формационным (капиталистическим) в развитии Европы, противоречие между локально-европейским и капиталистически-мировым[1] (если к первому противоречию консерватизм имел какое-то отношение, то со вторым ни консерватизм, ни тем более либерализм сколько-нибудь значительно связаны не были[2]). Для данного анализа значительно важнее отношение всех трёх идеологий к капиталу, их отношение к нему как в целом, так и в содержательном и функциональном измерениях.

Во-первых, марксизм — это не просто неприятие эволюционного развития, как полагает Валлерстайн, а более сложное явление; во-вторых, марксизм, социализм и коммунизм суть хотя и взаимосвязанные, но различные явления. Их различие, помимо прочего, проявляется и в их соотношении с либерализмом, под который Валлерстайн «подвёрстывает» всё, включая коммунизм (ленинизм): если либеральный социализм возможен, то либеральный коммунизм — нет, поскольку коммунизм есть отрицание консерватизма, либерализма и социализма не только по отдельности, но и в их единстве — как комплексного блока идеологий ядра КМС, т.е. систем идей европейской цивилизации на капиталистической стадии её развития. Валлерстайн же, сводя все различия между идеологиями лишь к факту отношения к нормальности изменения, естественно, получает иную перспективу и делает иные выводы.

---

[1] Теория Маркса как «локальная европейская теория, отразившая выход европейского общества за собственные рамки и наступление мировой эпохи развития капитала, и одновременно мировая теория капиталистического общества, в которой специфически преломились проблемы локального опыта западноевропейского развития и в которой сама европейская цивилизация в целом (не говоря о неевропейских цивилизациях) рассматривается сквозь призму частного варианта (генетически) этой цивилизации — капитализма» (подробнее см.: *Фурсов А.И.* Биг Чарли...).

[2] *Фурсов А.И.* Революция как имманентная форма развития европейского исторического субъекта: размышления о формационных и цивилизационных истоках Французской революции // Французский ежегодник. — М.: Наука, 1989. — 1987: 200 лет Великой Французской революции. — С. 286–288.

Так, у него получается величайшая аномалия КМЭ — тот факт, что под маской трёх конфликтующих идеологий по-настоящему существовала лишь одна подавляющая и господствующая — либерализм, который обеспечил культурную гегемонию господствующим классам КМЭ и позволил осуществить интеграцию в неё ядра рабочего класса. Под мощным воздействием либерализма, пишет Валлерстайн, изменились консерватизм и социализм: возникли, с одной стороны, просвещённый «либеральный консерватизм», представленный такими людьми, как Дизраэли, Бисмарк и отчасти даже Наполеон III; с другой — «либеральный социализм», представленный социал-демократами и воплотившийся в Бернштейне, Каутском, Жоресе и Геде. К 1914 г., заключает Валлерстайн, в «политической работе» промышленно развитых стран возникло разделение труда между «либеральными консерваторами» и «либеральными социалистами», тогда как чисто либеральные партии исчезли[1].

Хотя такой вывод отражает определённые эмпирические факты, с точки зрения исторической логики он кажется мне весьма уязвимым. На мой взгляд, логичнее другой вывод: к 1914 г. исчезновение либеральных партий отражало значительное разжижение, рассасывание либерализма — до такой степени, что достаточно чётко оформилось противостояние социалистов и консерваторов. Косвенно в пользу логичности такого, а не иного вывода свидетельствует и то, что Валлерстайн сам говорит именно о «либеральном консерватизме» и «либеральном социализме», а не о «консервативном либерализме» и «социалистическом либерализме», как он это должен был бы сделать в соответствии с логикой своего вывода. То, что «либеральный» используется именно как определение, а не как определяемое, лишний раз свидетельствует как о логической необоснованности вывода, так и о том, что Валлерстайн не решился (по вполне очевидным причинам) на прямое введение такого термина.

Отсюда — внутреннее логическое противоречие, выполняющее, однако, важную роль в схеме; именно оно и только оно позволяет Валлерстайну объединить либерализм и социализм (а затем — ленинизм, коммунизм) в нечто единое, а точнее, представить ленинизм (коммунизм) полупериферийным вариантом либерализма на мировом уровне. Я уже не говорю о том, что Валлерстайн использует столь широкие рамки определения той или иной идеологии, что в принципе применение такого подхода для дефиниции доминирующей идеологии XIX в. может логично привести и к совершенно иной оценке. Например, если учесть уверенность большинства европейцев XIX в. в том, что с изменением социального строя изменятся жизнь и чело-

---

[1] *Wallerstein I.* Who Excludes Whom? Or Dilemmas of Antisystemic Movements. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1991. — P. 8.

век, то можно вслед за Шпенглером и многими другими сказать: в XIX в. идеологией большинства был социализм.

Социальные процессы начала XX в. и особенно мировая война 1914–1918 гг. поставили перед буржуазией задачу интеграции в систему более широкого сегмента мирового рабочего класса — полупериферийных и периферийных групп. Были выдвинуты два варианта решения этой задачи, полагает Валлерстайн. Первый — «самоопределение наций» — идея Вудро Вильсона, который имел в виду нации не ядра, а полупериферии и периферии. Принцип самоопределения наций был структурным аналогом того, чем на национальном уровне был принцип всеобщего избирательного права[1].

Второй вариант был предложен Лениным. Валлерстайн считает, что большевизм (ленинизм) был реакцией на либеральный социализм. Но, убедившись в тщетности надежд на революцию в Германии, большевики в форме «построения социализма в одной стране» поставили вопрос об интеграции в экономическую и межгосударственную системы. В то же время после съезда народов Востока в Баку (1920) коммунизм в значительной степени принял облик антиимпериализма и борьбы за государственный суверенитет и национальное освобождение: «Ленинизм, великий оппонент либерал-социализма на национальном уровне, с переходом на мировой уровень начинал выглядеть подозрительно похожим на либерал-социализм»[2].

Это сходство Валлерстайн усматривает в том, что обе программы — вильсонизм и ленинизм — ставили одинаковые задачи и стремились к одинаковым целям: национальная независимость (государственный суверенитет) и национальное развитие, т.е. если не выход на один экономический уровень со странами ядра, то по меньшей мере значительное сокращение разрыва и приближение к ним по основным экономическим показателям. Удивительно, что этот вывод Валлерстайна упускает главное: антикапитализм Ленина, его упор на борьбу за национальную независимость как функцию классовой борьбы пролетариата против буржуазии — это альфа и омега большевистской программы по национально-государственному вопросу! Какой и откуда либерализм («вильсонизм») или даже сближение с ним?

Элементы великой антиномии XX в., исчезнувшей в 1989 г., — вильсонизм *versus* ленинизм — были, как подчёркивает Валлерстайн, по сути, двумя программами «национального развития»; различия касались лишь тактики (мирный путь — вооружённый путь)[3]; но вследствие соперничества оппо-

---

[1] *Wallerstein I.* Who Excludes Whom? Or Dilemmas of Antisystemic Movements. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1991. — P. 9.

[2] Ibid. — P. 11.

[3] По мнению Валлерстайна, по-настоящему ленинский план прихода к власти реализовывали не сами большевики, захватив власть в результате переворота, а китайские коммунисты — длительные усилия кадровой партии в ходе длительной войны. На мой взгляд, очень спорное заключение.

ненты подчёркивали именно различия. Эти различия Валлерстайн относит в основном к внешней политике («прозападный» и «просоветский» курс).

Что же касается экономической и социальной структуры освободившихся обществ, то здесь между странами «капиталистического» и «некапиталистического» путей развития Валлерстайн видит много общего: однопартийные диктатуры, военные режимы, слабость местного предпринимательства, коррупция, сильное государство[1] и т.д. Но самым главным объединявшим все государства периферии и полупериферии — от СССР до Аргентины, от Индии до Нигерии, от Албании до Сент-Люсии — была ориентация всех режимов на национальное развитие, обеспечение которого должно было помочь периферии если не догнать ядро, то, по крайней мере, сократить разрыв. (Отмечу здесь, что вплоть до середины 1960-х годов главной практической задачей СССР было укрепление соцлагеря как альтернативной капитализму наднациональной **системы**.) В этом смысле вильсонизм и ленинизм, считает Валлерстайн, суть лишь два идеологических варианта парадигмы развития, а сами эти варианты — всего лишь элементы одной идеологии, одной программы — вильсонизма-ленинизма, которую с энтузиазмом восприняли развивающиеся страны. Иногда Валлерстайн говорит о вильсонизме и ленинизме как о двух вариантах либерализма, иногда, в зависимости от контекста, отмечает производный характер ленинизма (от вильсонизма). Суть, однако, ясна: сведение ленинизма (коммунизма) и вильсонизма к двум формам либерализма.

Такая интерпретация вызывает самые серьёзные сомнения: логические, методологические и фактологические. Человеку, который жил в СССР, едва ли стоит объяснять, что методы реализаций той или иной идеологии могут быть не менее, а на практике и более важны, чем её содержание, а потому аналогия между вильсонизмом и ленинизмом не просто ошибочна, но неуместна. Однако такая аргументация была бы чересчур эмоциональной, а возможно, этноцентричной. Поэтому подойду к данному тезису более академично и постараюсь показать его ошибочность, исходя из логики подхода самого Валлерстайна.

---

[1] Невнимание к социальному содержанию приводит Валлерстайна к той же ошибке, которую совершали и совершают либеральные и вообще классические буржуазные исследователи государства в Третьем мире. Сила или слабость, «демократичность» или «авторитаризм» не являются характеристиками социальной природы государства. В 1970-е годы В.В. Крылов очень чётко провёл разграничительную линию между государствами «капиталистического» и «некапиталистического» путей развития. В первом случае государство выступает в качестве «вторичного собственника», являясь, если пользоваться марксистскими категориями, элементом надстройки, воздействующим на базис; во втором — государство выступает как «первичный собственник», агент производственных отношений, элемент базиса. При поверхностном взгляде, естественно, мы имеем просто «сильное государство». Но ведь при таком взгляде Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот.

Прежде всего возникает вопрос о правомерности и достаточности мирового уровня для определения ленинизма (или любой другой системы) как либерализма. Такой подход, по сути, вообще устраняет и саму проблему, ибо всё — либерализм. Нет таких стран в современном мире, которые не стремились бы к национальному развитию. Значит ли это, что все они подписываются под стратегией либерализма? Думаю, нет. Значит ли это, что все они либеральны? Конечно, нет. Да и можно ли на основе решения экономических задач на мировом уровне определять характер идеологии? Я в этом сильно сомневаюсь, так как, если даже «забыть» об одномерном и экономдетерминистском характере такого подхода, всё равно это будет совсем другой «либерализм», похожий на реальный ровно в той степени, в какой восковая фигура похожа на свой живой прототип. Либерализм, повторю, в этом случае вообще исчезает — охватывая всё, растворяется в нём, самоуничтожается.

К национальному развитию стремились консерваторы, социалисты, коммунисты. Что же, всех их можно отнести к «либеральной парадигме»? Ну а национал-социализм или фашизм — разве это не стремление к национальному развитию? Но почему-то Валлерстайн не относит ни фашизм, ни национал-социализм, в отличие от ленинизма, к либерализму. Эпициклы в виде наличия или отсутствия универсалистских устремлений в данном случае не спасают (хотя от консерватизма социализм и особенно коммунизм отличаются именно универсалистскими устремлениями). Я уже не говорю о том, что либералами «мирового уровня» оказываются одновременно капиталисты и антикапиталисты!

Из того, что пишет Валлерстайн, следуют, по моему мнению, совсем иные выводы. Ко времени мировой войны 1914–1918 гг., в её ходе и особенно сразу после неё либерализм если и не умер, то начал умирать — исчезновение либеральных партий и превращение «либерализма» из определяемого в определение[1]. На Западе место либерализма заняли либеральный консерватизм и либеральный социализм, иногда переплетающиеся в действиях того или иного правительства и более или менее активно использующие элементы и риторику либерализма. Единственное, что придавало им «либеральные» характеристики, — это определение, становившееся, однако, очевидным лишь в ситуации противостояния консерватизма и социализма коммунизму. Это-то, на мой взгляд, и ввело в заблуждение Валлерстайна, который к тому же объединил с консерватизмом и социализмом в рамках либерализма всё то, что могло придать им облик либерализма, только находясь вне их.

Ещё раз напомню, что каждый из трёх элементов идеологического универсума Запада (СМС) отрицал два других лишь частично. Однако как толь-

[1] На примере Великобритании это хорошо показал Дж. Дэнджерфилд в работе «Странная смерть либеральной Англии, 1910–1914; см.: *Dangerfild G.* The Strange Death of Liberal England, 1910–1914. — N.Y.: Capricorn books, 1961.

ко его вырывали из «треугольника», он превращался в отрицание всех элементов (и Запада) в целом и по отдельности (но уже не частично, а полностью), в том числе — самого себя, и в первую очередь самого себя в «исходном», «прототипическом» виде. Например, отношение к социализму (в силу своей функциональности наиболее подверженному вычленению и отрыву от «треугольника») и социалистам. Для Валлерстайна же это всё *«либералы мирового уровня»*. Здесь, представляется мне, Валлерстайн опасно близко подошёл к границе теории модернизации (если не перешёл эту границу). Замените «либерализм» и «национальное развитие» и — *ça y est*! Велика ли разница между валлерстайновским определением ленинизма как «либерализма вооружённым путём» и характеристикой Ростоу коммунизма как специфической («болезненной», так как вооружённой) формы перехода от традиционного общества к современному?[1] Стратегия этого перехода, осуществляемого как «национальное развитие», — эквивалент валлерстайновского либерализма. Как это Сталин говорил? Пойдешь налево — придёшь направо: диалектика.

«Мировая революция 1968 г.» — священный миф мир-системного анализа

В период между 1917–1967 гг. (особенно в 1945–1967 гг.), пишет Валлерстайн, антисистемные силы, пришедшие к власти (социал-демократы, коммунисты, деятели национально-освободительного движения), достигли своей первой цели — завоевали государственный суверенитет и, казалось, сделали значительный шаг в достижении второй цели — успешного национального развития. Как коммунистический, так и Третий мир демонстрировали высокие темпы роста; создавалось впечатление, что уже по крайней мере социалистические страны вот-вот догонят капитализм. *«Мы похороним вас»* — так охарактеризовал ситуацию Хрущёв. Однако, считает Валлерстайн, ни Хрущёв, ни другие представители антисистемных сил не учли законов функционирования КМЭ, прежде всего циклических ритмов, ведь основой впечатляющих показателей была неэффективная база экстенсивного роста с высокой трудоёмкостью. Всё это могло существовать, приводя к росту ВНП (и даже ВНП на душу населения) только в условиях расширяющейся КМЭ, переживающей кондратьевскую А-фазу (1945–1967/73 гг.).

Однако постепенно рост стал замедляться, и всё больше людей, прежде всего левых, начали понимать: левая стратегия в обоих её вариантах («борьба за власть», «нахождение власти») не смогла выполнить задачу обеспечения на-

---

[1] *Ростоу У.* Стадии экономического роста. — Нью-Йорк: Прегер, 1961. — P. 176.

ционального развития. Именно осознание этого фактора стало, по мнению Валлерстайна и его ближайших коллег — Дж. Арриги и Т. Хопкинса, одной из главных причин всемирной (мировой) революции 1968 г. Ожидания 1950-х годов оказались обманутыми ещё и потому, что, во-первых, институциализация гегемонии США в СМС стала мощным контрреволюционным фактором, политически замедлившим рост и ослабившим мощь антисистемных движений. Во-вторых, сами антисистемные движения, пришедшие к власти, не только не смогли достичь многих из поставленных ими целей, но и своей практикой напомнили миру страхи сталинизма 1930-х годов, стёршиеся за время борьбы с фашизмом. В этом смысле революция 1968 г. была «криком души» против всех зол СМС, воплотившихся в американской гегемонии, и одновременно отрицанием традиционной («старой») левой стратегии борьбы как неэффективной.

Революция 1968 г., под которой в МСА понимается взрыв, происшедший спонтанно и почти одновременно в Нью-Йорке, Париже, Нью-Мехико, Праге, Италии, Дакаре, Калькутте и Пекине, занимает особое место как в валлерстайновской схеме развития мира после 1968 г., так и в его подходе к революциям вообще. Согласно Валлерстайну, в истории были только две мировые революции, одна — в 1848 г., вторая — в 1968 г., считают Дж. Арриги, Т. Хопкинс и И. Валлерстайн[1]. Обе революции не планировались заранее, но обе изменили мир. Обе революции провалились, но в то же время привели к глубоким изменениям в СМС. Если первая институциализировала «старое левое» движение и стала прологом к Парижской коммуне, съезду народов Востока в Баку и к Бандунгу, то вторая институциализировала «новых левых»[2]. Революция 1848 г. возникла из чувства неудовлетворённости и как реакция на контрреволюцию 1815 г. Революция 1968 г. тоже родилась из чувства неудовлетворённости и как протест против контрреволюции в виде гегемонии США в мире[3].

Главным уроком революции 1848 г. Валлерстайн считает осознание эксплуатируемыми группами того факта, что «спонтанные» восстания не могут пробить стену власти современного бюрократического государства, господ-

---

[1] Великую французскую и русскую 1917 г. революции в соответствии с логикой мир-системного подхода они определяют как полупериферийные — ни больше, ни меньше.

[2] По сути, Валлерстайн приравнивает друг к другу несопоставимые феномены — левое («старолевое движение»), просуществовавшее более ста лет и носившее массовый характер, и «новолевое», которое не только ничего всерьёз не добилось, но и во многом носило карикатурно-фарсовый характер, не было массовым и реально просуществовало не более двух десятилетий, после чего наступила «жизнь после смерти». В 1990-е годы «новые левые», если пользоваться валлерстайновской терминологией, капитулировали перед капсистемой так же, как «старые левые» в 1970-е годы.

[3] *Arrighi G., Hopkins T., Wallerstein I.* 1968: The Great Rehearsal. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1988. — P. 1.

ствующих стран и их культурной гегемонии и, следовательно, осознание необходимости создания антисистемной бюрократической контрорганизации с целью захвата государственной власти[1]. 1917 год стал великим символом достижения этой цели. Революция 1968 г. институциализировала «новое левое» движение, до основания потрясла культурно-идеологические основы СМС, зафиксировала конец эры гегемонии США (1945–1967) в современном мире и стала идеологической могилой доктрины «руководящей роли» промышленного пролетариата.

Изменение именно политической ситуации и духовного настроения Валлерстайн и его коллеги выдвигают в качестве главного результата революции 1968 г. и считают той причиной, которая позволяет им трактовать это событие как поворотный пункт в истории современной мир-системы[2]. Хотя отступление господствующих классов СМС под напором революции было временным, изменения, происшедшие после 1968 г., Валлерстайн и его коллеги в целом считают необратимыми.

Во-первых, хотя соотношение военных сил между Западом и Востоком осталось прежним и после 1968 г., возможности Запада и Востока осуществлять контроль над Югом уменьшились (тезис весьма спорный. — *А.Ф.*). После проведённой вьетнамцами наступательной операции «Тет» в 1968 г. во Вьетнаме и последовавшим через пять лет уходом США из этой страны началась новая эра в отношениях «Север — Юг».

Во-вторых, после 1968 г. изменились отношения власти между статусными группами — старшим поколением, мужчинами и «национальными большинствами», с одной стороны, и молодёжью, женщинами и меньшинствами — с другой. «Реальная» и культурно-психологическая власть первых над вторыми уменьшилась. (На это сходу можно возразить, что движения «меньшинств» очень быстро стали орудиями ТНК в борьбе против государства, с одной стороны, и среднего и рабочего класса — с другой. Я уже не говорю о том, какую роль сыграли спецслужбы капстран в инициировании и развитии многих событий так называемой «мировой революции» молодежи 1968 г. — *А.Ф.*)

В-третьих, капиталу не удалось восстановить ту степень господства, которой он обладал по отношению к рабочей силе до 1968 г. (Этот тезис вообще не соответствует действительности. Именно тогда, когда он формулировался Валлерстайном, — в 1980-е годы, началось контрнаступление буржуазии, капитала на рабочий класс. В результате «неолиберальной глобализации» капитал в его отношениях с трудом по сути вернул ситуацию первой трети XX в. как в плане эксплуатации, так и в плане социально-экономического не-

---

[1] *Arrighi G., Hopkins T., Wallerstein I.* 1968: The Great Rehearsal. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1988. — P. 3.

[2] *Wallerstein I.* 1968: Revolution in the World-System: Theses and Queries. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1988. — P. 14.

равенства. — *А.Ф.*) Одним из главных фактов 1970–1980-х годов стали, согласно Валлерстайну и его коллегам, поиски функционерами капитала зон дисциплинированной рабочей силы, так как зонами протестов и активной борьбы трудящихся стали те страны, которые до 1968 г. были «тихими заводями», — Португалия, Испания, Бразилия, Иран, ЮАР и даже Южная Корея[1].

В-четвёртых, после 1968 г. гражданское общество стало значительно менее послушным по отношению к государству, а с 1973 г. ускорились кризисные процессы в диктатурах как «буржуазных» (Португалия, Греция, Испания, Бразилия, Аргентина, Филиппины, Южная Корея), так и «пролетарских» (Чехословакия, Польша, СССР).

Мне совершенно непонятно, как события 1968 г. могли привести к изменению в соотношении военных сил между Западом и Востоком. Оно было результатом действия иных факторов и иных причин — социально-экономического порядка, о которых, кстати, писали Валлерстайн и его коллеги[2], встроив, таким образом, противоречие в свою «каузальную субординацию». Другое противоречие связано с последствиями событий 1968 г. для самого Третьего мира — ростом в 1970-е годы бедности, безработицы, конкуренции внутри Третьего мира вопреки лицемерным заявлениям о солидарности Юга перед лицом Севера. В связи с этим Валлерстайн вынужден признать, что в этом смысле 1968 год мёртв, но тут же оговаривается: необходимо отделять движения и идеологии 1968 г. от тех структурных изменений в СМС, которые вызвали их к жизни и которые сохранились после их «социальной смерти». Эта оговорка, на мой взгляд, относится к разряду тех «извинений, которые хуже проступка»: стремясь укрепить слабое звено в цепи аргументации, Валлерстайн рушит всю цепь, называя события 1968 г. (движения, идеологии) следствием (а не причиной) целого ряда изменений, которые он и его коллеги называют в качестве последствий революции 1968 г.

---

[1] *Arrighi G., Hopkins T., Wallerstein I.* 1968: The Great Rehearsal. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1988. — P. 9.

[2] В частности, Валлерстайн, Арриги и Хопкинс отмечают: ещё Смит писал об отрицательном долгосрочном воздействии расширяющегося и углубляющегося разделения труда на «военные способности» народов и стран, вовлечённых в него. Увеличение специализации и механизации военных форм деятельности само по себе могло ослабить это отрицательное воздействие, но лишь до определённого момента. Шумпетер прямо отметил, что капиталистическое развитие подрывает возможности (но не склонности) государств к ведению империалистических войн. Мир-системники дополняют эти мысли следующими выводами: неравномерность развития капитализма в пространстве подрывает военную мощь именно тех государств, в которых концентрируется богатство СМС, — государств ядра. До сих пор государства ядра противопоставляли изменению в равновесии сил, присущему этой тенденции, постоянное увеличение «капиталоёмкости войны». Однако опыт США во Вьетнаме (и СССР в Афганистане) показал, что всё это «работает» до известного предела, по достижении которого увеличение капиталоёмкости вооружений ведёт к быстро уменьшающейся отдаче, особенно когда речь идёт о контроле над периферией КМЭ (*Arrighi G., Hopkins T., Wallerstein I.* 1968: The Great Rehearsal... — P. 14).

Оставим мир-системников среди трудностей этого замкнутого круга, в котором причины и следствия переливаются друг в друга, подобно дьяволам и ангелам на картине М. Эшера, и посмотрим, как оцениваются мир-системниками события 1968 г. с точки зрения их перспективы или, как ставит вопрос Валлерстайн, репетицией и прологом чего была всемирная революция 1968 г.? Если революция 1848 г. оценивается как пролог 1917 г. (что вызывает у меня сомнение: по мир-системной логике мировая революция выходит прологом и репетицией полупериферийной; общее — репетицией частного), то революция 1968 г. квалифицируется предположительно как репетиция будущих разновариантных союзов шести основных антисистемных сил (три пары «старых» и «новых» левых в каждой зоне СМС) и борьбы в рамках единой «семьи» антисистемных движений между сторонниками эгалитарного и демократического мира и их оппонентами[1].

Можно было бы остановиться как на расплывчатости и туманности этой оценки, так и на её внутренней противоречивости. Однако, на мой взгляд, важнее другое: Валлерстайн зафиксировал наличие в антисистемном (т.е. антикапиталистическом) движении двух различных типов сил. Верная, свободная от левых иллюзий идентификация последних позволит, как мне представляется, устранить слабые места в мир-системной интерпретации социальных и политических движений (другой вопрос — насколько это окажется совместимым с мир-системным подходом в целом) и «революции 1968 г.». А сейчас эта интерпретация представляется уязвимой. Не знаю, насколько правомерно объединение в одно целое «пражской весны», «парижского мая», «культурной революции» в Китае и движения наксалитов в Индии. Об этом можно спорить. Но в данном случае более значимыми проблемами мне представляются сама оценка событий 1968 г. как революции и «взлёта» и вопрос об институциализации *new left.*

На мой взгляд, Валлерстайну не удалось убедительно доказать, что события 1968 г. были, во-первых, революцией, во-вторых, мировой. В лучшем случае перед нами рабочая гипотеза. Адекватный ответ на вопрос: «А почему вы решили, что это революция, и откуда вы это знаете?» — возможен лишь «при предъявлении» общей типологии и сравнительного анализа революций, которые у Валлерстайна отсутствуют. Сравнение с революцией 1848 г. — не более чем «поверхностная аналогия» (Гегель), которая может оказаться эвристически плодотворной гипотезой, а может и не оказаться ею. Я во многом согласен с Валлерстайном в его неприятии идеи и концепции «буржуазной революции» (хотя не только по тем причинам, которые он выдвигает: более серьёзна аргументация Т. Тибебу и, особенно, Дж. Комнинела). Кроме того,

---

[1] *Wallerstein I.* 1968: Revolution in the World-System: Theses and Queries. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1988. — P. 17.

революции бывают разных масштабов и уровней: одно дело, например, полисная революция VII–VI вв. до н.э., возникновение христианства и «великая капиталистическая революция» 1517–1648 гг.; другое — Великая французская и русская революции; третье — китайская, вьетнамская, алжирская. Короче, оценка событий 1968 г. как революции требует более серьёзного анализа, не говоря уже о доказательствах.

События 1968 г. действительно способствовали институциализации «новой левой». Но является ли это взлётом? Мне неясны объективные причины, которые побудили Валлерстайна к такому заключению. Вышли ли «новые левые» за рамки «парадигмы национального развития»? Уже сам факт обвинений с их стороны в адрес «старых левых» в том, что те не смогли обеспечить адекватное «национальное развитие», и смещение фокуса поиска его агентов на иные — маргинальные — группы ставит под сомнение утвердительный ответ на поставленный вопрос. И логика, и реальность 1970–1990-х годов создают как минимум столь же (а на мой взгляд — более) правомерную основу для вывода, диаметрально противоположного валлерстайновскому: 1968 год был не всемирной революцией и не новым подъёмом, а началом конца левого движения. «Новые левые» — это форма упадка, старения и социальной смерти левого движения, продукт распада, в лучшем случае, изнанка, которая всегда хуже лицевой части. Именуемое «всемирной революцией 1968 г.» больше похоже на то, что, перефразируя Баррингтона Мура, можно назвать «предсмертным стоном социального движения, которое накрывает волна прогресса». С этой точки зрения 1968 год — не начало конца либерализма (это произошло в 1914 г.), а начало конца классических коммунизма и социализма.

Всемирная революция 1968 г. — первая и главная, по мнению Валлерстайна, причина исчезновения убеждённости (1950-х — начала 1960-х годов) в том, что национальное развитие полупериферийных и периферийных обществ в рамках КМЭ может быть долгосрочно успешным. Вторая причина — мировой спад 1970–1990-х годов (кондратьевская Б-фаза), который повлиял на ситуацию во всех трёх зонах СМС и, полагает Валлерстайн, расставил все точки над «i»: резко ослабил гегемонию США, «свалил» коммунизм, развеял иллюзии относительно национального развития, подорвал либерализм в качестве идеологии-гегемона СМС и перевёл мир из послевоенной эпохи (1945–1990) в военную (начиная с 1990 г. — первой войны Севера и Юга, начатой Югом[1], т.е. конфликт в Персидском заливе). Произошли эти сдвиги в два «захода»: повышение цен в 1970-е и кризис задолженности в 1980-е годы. Параллельно с этим слабела гегемония США. Уменьшение золотого запаса

[1] Говоря о том, что в лице Саддама Юг начал войну против США — Севера, И. Валлерстайн не учитывает тот факт, что США, по сути, спровоцировали нападение Саддама на Кувейт, заманив иракского диктатора в ловушку — метóда, отработанная англосаксами и успешно применённая и против Вильгельма II, и против Гитлера.

вытолкнуло их за рамки паритета между долларом и его золотым наполнением. Япония и Западная Европа начали обгонять США по производительности как раз тогда, когда стартовала Б-фаза; точнее, само расширение мирового производства (в Европе и Японии) Валлерстайн считает главной причиной спада (заметим — ни слова об НТР, но ни слова и о «революции» 1968 г.).

Упадок гегемонии США, крушение коммунизма, Хомейни и Саддам Хусейн: Конец эпохи

В каждое из двух десятилетий (1971–1980, 1981–1990) США, по мнению Валлерстайна, пробовали две разные стратегии, и хотя они были достаточно эффективны, с их помощью удалось лишь замедлить падение гегемонии, но не остановить его. Администрации Никсона, Форда и Картера следовали политике «низкого поклона»: Никсон посетил Китай, введя его в мировую политику, признал поражение во Вьетнаме, Картер публично признал существование пределов власти и мощи США. США стремились умиротворить всех: Западной Европе и Японии они предложили «Трёхстороннюю комиссию»; СССР — разрядку; Третьему миру — поствьетнамский синдром, конкретно выразившийся в таких жестах, как отчёт комиссии Черча по ЦРУ, поправка Кларка по Анголе, прекращение поддержки Сомосы и шаха Ирана[1]. Всё было хорошо, пишет Валлерстайн, пока судно политики «низкого поклона» не налетело на скалу по имени Хомейни. Его не удалось обмануть: «низкий поклон» или «задранный нос» — это для него значения не имело, США всё равно оставались «Дьяволом № 1».

Стратегия Хомейни, считает Валлерстайн, была исключительно проста: он отказывался принять мир-системные правила игры — как общие, «пятисотлетние», так и тридцати пяти послевоенных лет. В результате США подверглись унижению, Картер потерпел поражение на выборах, к власти пришёл Рейган, программа которого целиком и полностью отрицала курс «низкого поклона». Рейган (и Буш) избрал в 1980-е годы курс «мачо» — курс «высоко поднятой головы»: «жёсткая позиция во всём и со всеми — с союзниками, с СССР, с Третьим миром, с профсоюзами»[2]. Несмотря на это, результаты — те же, что у предшественников, считает Валлерстайн, и здесь я позволю себе с ним не согласиться.

В первой половине 1970-х годов США очень удачно использовали (отчасти организовав его) повышение цен ОПЕК на нефть. Представленная как

---

[1] *Wallerstein I.* The Cold War and the Third World: The Good Old Days. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1990. — P. 9.

[2] *Wallerstein I.* Introduction: the Lessons of the 1980s. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1990. — P. 9.

воинствующая наглость Третьего мира, инициатива ОПЕК привела к тому, что значительная часть мирового (и «третьемирского») продукта в денежной форме оказалась в банках США. Затем эти деньги в виде займов пошли в Третий мир и в страны советского блока, временно облегчив им проблему сбалансирования их бюджетов и обеспечения средств для покупки товаров на Западе. Однако это лишь отсрочило экономические трудности, стимул, полученный СМС от ОПЕК, угасал, и в 1980-х годах миру всё равно пришлось платить по счетам 1970-х (за исключением «новых индустриальных стран» Восточной Азии, которые избежали понижательной спирали экономического развития благодаря переводу в них некоторых отраслей промышленности из ядра). Первыми «знаками беды» стали кризис задолженности в Польше, приведший к падению правительства Герека и подъёму «Солидарности» (1980), затем — заявление правительства Мексики о том, что оно не может выплатить долг (1982). За этим последовал каскад различных событий во всех частях мира: уход военных диктатур в Латинской Америке, наступление исламистов на светские режимы в арабском мире и, самое главное, упадок коммунизма в Восточной Европе и СССР[1].

У Валлерстайна своя интерпретация причин «перестройки». Я полностью не согласен с ней, считаю её совершенно поверхностной, но воспроизвожу её почти без комментариев (отмечу лишь одно — полное игнорирование тех причин «перестройки», которые, во-первых, имманентно вытекают из специфики, социальной природы и законов развития советского общества; во-вторых, из логики Холодной войны, сознательных действий Запада по ослаблению и разрушению СССР.) Вообще нужно сказать, что интерпретация русской/советской истории — самое слабое, если не провальное место в МСА.

О перестройке в 1990 г. Валлерстайн рассуждал так. СССР числился второй сверхдержавой в монополярном мире с одной сверхдержавой только благодаря особому симбиотическому отношению с США (посредством Холодной войны). В мире, в котором США утрачивают роль гегемона и Холодная война функционально больше не нужна, СССР оказался перед риском превращения в ещё одно полупериферийное государство. Горбачёв попытался предотвратить это, сохранив СССР если не в качестве почти мировой державы, то в качестве полупериферийного государства «номер один». Его программа включала три задачи: 1) одностороннее прекращение Холодной войны; 2) отказ от восточноевропейской части, ставшей бременем для советской империи; 3) перестройка советского общества таким образом, чтобы оно могло эффективно функционировать в «постгегемонном» мире. Две первые задачи были решены с большим успехом, третья до сих пор остаётся камнем преткно-

---

[1] *Wallerstein I.* The Concept of National Development, 1917–1989: Elegy and Requiem. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1991. — P. 16.

вения[1] (т.е., по мнению американского профессора, сдача Горбачёвым Восточной Европы — успешное решение; комментарии здесь излишни).

Согласно Валлерстайну, США были крайне озадачены этим манёвром[2], однако затем пришли в себя и решили представить разрушение американской гегемонии как свою победу, как результат сознательных действий. Подобный рекламный трюк мог бы длиться в течение пяти-шести лет, если бы Третий мир, на этот раз в лице Саддама Хусейна, не «потянул одеяло на себя». В отличие от многих, считает Валлерстайн, Саддам хорошо понял факт ослабления Америки, проявившийся в падении коммунистических режимов в Восточной Европе и неспособности США разрешить из-за сопротивления Израиля региональный конфликт на Ближнем Востоке так, как это было сделано в Индокитае, Южной и Центральной Америке. И это происходило в ситуации, когда США оказались «единственным носителем ответственности» на Ближнем Востоке, в то время как СССР был занят своими проблемами.

Валлерстайн характеризует «перестройку и гласность» как конъюнктурный ответ социалистических сообществ на дилемму, поставленную перед ними КМЭ, как попытку советских элит под маской возврата к ленинизму перегруппировать силы в условиях всемирного упадка марксизма-ленинизма как идеологии и стратегии национального развития.

Главную проблему советского руководства Валлерстайн видит в отсутствии идеологии, альтернативной марксизму-ленинизму. У меня значительно более простое объяснение: речь не в идеологии, значение которой Валлерстайн как интеллектуал, тем более левый склонен явно преувеличивать, а в стремлении советской верхушки превратиться из статусной группы в класс собственников в условиях структурного кризиса, который они совместно с западным капиталом превратили в системный.

Умелой тактикой, рассуждает далее Валлерстайн, можно сменить геронтократов из Политбюро, но что делать с социалистическим проектом? И дело не в том, что социалистические опыты в СМС провалились сами по себе. Они провалились в том смысле, что в 1980-е годы стало ясно: 150-летняя мечта об успехе «национального развития» — это иллюзия. Марксизм-ленинизм был главной идеологией такого развития в полупериферийных и периферийных странах. (Еще раз напомню: марксизм был идеологией создания наднациональной, мировой системы. — *А.Ф.*) По сути, считает Валлерстайн, ни одна из этих стран так и не сделала второго шага либеральной программы, и географически СМС уже не может более расширяться — некуда. Сле-

---

[1] *Wallerstein I.* The Cold War and the Third World: The Good Old Days. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1990. — P. 10.

[2] Публикация мемуаров американских политиков и, самое главное, документов, показывает как американцы готовили — совместно с «пятой колонной» в СССР — этот якобы «озадачивший» их манёвр.

довательно, и ядро больше не может увеличиваться. Точнее, любое его увеличение — это игра с нулевой суммой: если в него входит новый район, неизбежно должен выйти один из старых районов. Если в ближайшие тридцать лет Китаю, Индии или Бразилии удалось бы «догнать» ядро, будь то путём экспортозамещения или автаркии, это неминуемо означало бы, что бóльшая часть ядра перестала бы быть местом накопления капитала. В связи с этим, заключает Валлерстайн, национальное развитие может оказаться довольно пагубной целью. Для большинства государств оно недостижимо никаким способом, а те немногие, которые способны добиться успеха, могут сделать это только за счёт других[1].

«Период 1917–1989 гг. заслуживает одновременно элегии и реквиема. Элегия — триумф вильсоновско-ленинского идеала самоопределения наций. За эти 70 лет мир был в основном деколонизован»[2]. Деколонизация и национальная независимость, которые были достигнуты периферией за последние 70 лет, рассматривались, однако, не столько сами по себе, сколько в качестве прелюдии к национальному развитию, которое так и не было достигнуто. И это не только экономическая проблема и проблема не только стран-неудачников, но и мира в целом. Перспектива национального развития служила средством легитимности всей структуры СМС в XX в. В этом смысле судьба вильсоновской идеологии была тесно связана с судьбой ленинизма: ленинская идеология была фиговым листком вильсонизма. Сегодня листок упал — и оказалось, что король голый. Все крики в 1989 г. о триумфе демократии, падении коммунизма и т.д. не способны более скрыть факт отсутствия сколько-нибудь серьёзных перспектив экономической трансформации периферии в рамках СМС: «Таким образом, не ленинцы, а вильсоновцы исполнят реквием по ленинизму. Это они оказались в ловушке и не имеют приемлемых политических альтернатив»[3].

В реальности, согласно Валлерстайну, это выразилось по-разному, например в безвыигрышной ситуации Буша-старшего в Персидском заливе. Но Персидский залив — это не только начало полёта в пропасть скованных одной цепью вильсонизма и ленинизма. По мере того как конфронтация «Север — Юг» будет принимать всё более жестокие формы, мир будет всё больше сознавать, как много он потерял в виде идеологического и легитимного «цемента» антиномичного вильсонизма-ленинизма. Вильсонизм-ленинизм представлял собой мощную, но исторически невечную броню из идей, надежд и человеческой энергии. Ему трудно, если вообще возможно, найти за-

[1] См.: *Wallerstein I.* Development: Lodestar or Illusion // Economic and Political Weekly. — Bombay, 1988. — Vol. 23, No. 39. — P. 2017–2023.

[2] *Wallerstein I.* The Concept of National Development, 1917–1989: Elegy and Requiem. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1991. — P. 18.

[3] Ibid. — P. 19.

мену. Но только обретение такой замены — нового и более солидного утопического мировоззрения — позволит нам преодолеть нынешнее смутное время в истории мир-системы, полагает Валлерстайн.

Учитывая всё это, Валлерстайн считает 1989–1991 гг. поворотным пунктом современной эпохи. Те два события, с которыми связывают поворот, — упадок коммунизма и война в Персидском заливе, — пишет он, явления хотя и взаимосвязанные, но разнонаправленные. Упадок коммунизма означает конец одной эпохи, война в Заливе — начало другой: первое — конец истории обманутых надежд; второе — начало ещё не сбывшихся страхов. Однако «события — это пыль» (Бродель), и пока они не помещены в рамки определённой конъюнктуры, они ни о чём не могут сказать. Отсюда — задача: решить, каким конъюнктурам и структурам соответствуют эти два события. Например, конец коммунизма как конец эры. Какой эры? 1945–1989 гг.? 1917–1989 гг.? 1789–1989 гг. или 1459–1989 гг.? Валлерстайн выбирает период 1789–1848–1989 гг.[1]

Этот период можно характеризовать по-разному: период промышленной революции, эпоха буржуазных революций, эра демократизации политической жизни, — и все эти определения отчасти верны. Но прежде всего, двести лет, о которых идёт речь, — это, согласно Валлерстайну, эра триумфа и господства либеральной идеологии, 1989 год — год её падения, начавшегося в 1968 г. Именно тогда стало ясно: политика либерализма — приручение мирового рабочего класса посредством всеобщего избирательного права, государственного суверенитета и государства всеобщего благосостояния («национального развития») — достигла своих пределов. Дальнейшее увеличение политических прав и экономическое перераспределение поставят под угрозу самоё систему накопления. Но она достигла своих пределов до того, как все секторы мирового рабочего класса оказались прирученными путём включения в небольшую, но значимую группу бенефициантов.

1968 год стал началом изменения на 180° культурной гегемонии господствовавших групп в мире, которую они с таким усердием создавали с 1848 г. С 1968 по 1989 г. то, что ещё оставалось от либерального консенсуса, было разрушено. Если Никсон говорил: «Мы все — кейнсианцы», то Буш-старший проводил свою кампанию под лозунгом борьбы против «Л-мира» (Л — либеральный); в Консервативной партии Англии произошёл, по сути, переворот: с уходом Тэтчер уходят традиции «просвещённого консерватизма», заложенные Дизраэли и Р. Пилем. Кульминацией разрушения либерал-социализма Валлерстайн считает упадок коммунизма в СССР и Восточной Европе в 1980-е годы. Истинное значение крушения коммунизма он видит

[1] *Wallerstein I.* Who Excludes Whom? Or Dilemmas of Antisystemic Movements. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1991. — P. 1.

в падении либерализма как идеологии-гегемона, без веры в положения которой не может быть сколько-нибудь продолжительной легитимности капиталистической мир-системы[1]. Этот вывод я оставляю без комментариев.

Упадок либеральной парадигмы национального развития автоматически означает, считает Валлерстайн, что мир вступает в такую эру, начало которой положила война в Персидском заливе и в которой самым эффективным оружием господствующих групп становится сила. В отличие от всех других столкновений «Север — Юг», война в Заливе была упражнением в реальной политике в чистом виде. Реальная политика частично присутствовала и в прежних конфликтах. Однако главным в них было то, что Юг вёл борьбу под знаменем идеологии изменений и надежды. Но в 1968 г. стало ясно, что надежды тщетны; в этом смысле 1989 год — это год гнева разочарования.

Согласно Валлерстайну, Саддам Хусейн понял, что «национальное развитие» — иллюзия даже для такой нефтедобывающей страны, как Ирак, и решил изменить мировую иерархию посредством создания крупной военной державы на Юге. Вторжение в Кувейт планировалось как первый шаг на этом пути. Валлерстайн оценивал шансы Саддама 50 на 50, и тем не менее иракский лидер проиграл. Однако в целом политическое положение на Ближнем Востоке не изменилось по сравнению с 1989 г., за одним исключением: политическая ответственность США резко увеличилась при ослаблении их общих политических позиций в мире[2]. Итак, удар Саддама трактуется как следствие падения либерализма. И здесь у меня возникает очередное сомнение: либерализма ли?

Если верно то, что «чистый» либерализм в целом начал умирать в начале XX в. и остался лишь на уровне повседневных ценностей и социальных определений, отличающих консерватизм и социализм на Западе как теорию и практику от коммунизма, то из этого логически вытекает: в 1968 г. начали медленно умирать либеральный социализм на Западе и коммунизм с его действительно универсалистскими претензиями антисистемы (фашизму такие

---

[1] *Wallerstein I.* Who Excludes Whom? Or Dilemmas of Antisystemic Movements... — P. 13.

[2] Валлерстайн считает, что действиями Саддама, решившего напасть на Кувейт, а затем двинуться дальше на юг, руководили четыре фактора: 1) мировой долговой кризис (вторжение в Кувейт было самым простым способом решить эту проблему); 2) факт отсутствия переговоров с ООП (если бы вторжение имело место, то оно нанесло бы ущерб «палестинскому делу»); 3) кризис в коммунистических странах — это самое главное. Во-первых, Саддам Хусейн знал: СССР не будет поддерживать его, а раз так, то ядерный удар США маловероятен. Это развязало руки иракскому лидеру. Во-вторых, упадок «коммунизмов» означал и конец идеологии национального развития иллюзий, его возможности в современном мире. Лишённый всех альтернатив и уверенный в слабости США Саддам Хусейн принял в расчёт четвёртую переменную; его шансы в случае нападения были 50 на 50, тогда как США проигрывали в любом случае: если они уступают, то они — «бумажный тигр», если вмешиваются, то реакция на это будет отрицательной во всём мире (см.: *Wallerstein I.* The Cold War and the Third World: The Good Old Days. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1990. — P. 12).

претензии не были нужны — он находился внутри системы, являлся её элементом и потому-то в тех конкретных условиях и представлял для неё, для господствующих групп КМЭ большую опасность; отсюда — германо-американская война, начавшаяся как внутрисистемная, но по логике развития КМЭ и современного мира, как состоящего из двух мировых систем — КМЭ и системного антикапитализма, — превратившаяся в межсистемную).

Что день грядущий нам готовит? (мир-системная футурология)

В конце 1980-х — начале 1990-х годов Валлерстайн много писал на темы кратко- и среднесрочного будущего СМС (10–15–25–50 лет). Сегодня, из XXI в., интересно взглянуть на эти прогнозы не столько с точки зрения изучения реальности, сколько в плане изучения самого МСА, его предсказательного потенциала, который многое может сказать о том или ином подходе, той или иной теории. Разумеется, речь пойдёт, во-первых, о наиболее интересных, а не полностью ошибочных прогнозах (например, на рубеже 1980–1990-х годов Валлерстайн писал о том, что в XXI в. США как слабейший элемент «триады» «Европа — Япония — США» вынуждены будут примкнуть к Японии в борьбе с Европой; Корея, Юго-Восточная Азия, Канада и Латинская Америка станут периферией и полупериферией японо-американского Севера, и будет сделано всё, чтобы найти в этой зоне нишу для Китая); во-вторых, о среднесрочных и долгосрочных прогнозах.

В будущих отношениях внутри Севера Валлерстайн отдавал преимущество японо-американскому консорциуму перед Европой. Однако, по его мнению, наиболее серьёзные испытания ожидают КМЭ по линии отношений «Север — Юг». У Юга — три вероятных выбора.

Первый, кошмарный для Запада, — «выбор Хомейни». Вопреки распространённому мнению, подчёркивает Валлерстайн, он не связан жёстко ни с исламом, ни с фундаментализмом. Это — формы; суть же в том, что «выбор Хомейни» — это кульминация гнева и страхов капиталистической мировой системы, направленная против главных бенефициантов — ядра мировой системы. Это полное отрицание Запада (особенно ценностей Просвещения) как воплощения зла. Если бы это была только тактика, с ней было бы более или менее легко справиться. Однако в той степени, в какой противостояние Юга Северу есть стратегия, невозможно ни найти с ней общего языка, ни остановить её. Трудно сказать, как долго могут продолжаться взрывы хомейнистского типа и как далеко они могут зайти. Иран, кажется, вступил на путь возвращения в мировую систему. Однако завтра или послезавтра взрывы могут произойти в менее стабильной мировой системе, способствуя её распаду.

Второй вариант поведения Юга Валлерстайн называет «выбором Саддама Хусейна». Это — не тотальное отрицание ценностей современной мировой системы. Партия Баас — типичное национально-освободительное движение светского типа. «Я уверен, — пишет Валлерстайн, — что выбор Саддама Хусейна — это не что иное, как выбор Бисмарка. Это — чувство, согласно которому, поскольку экономическое неравенство есть результат политического соотношения сил, экономические изменения требуют применения силы»[1]. Иракско-американское столкновение — это первая настоящая война Севера и Юга. Все национально-освободительные войны (например, вьетнамская) имели ясную и довольно ограниченную цель — национальное самоопределение.

С точки зрения народов Юга, эти войны начал Север. Кризис в Персидском заливе — совершенно иное дело. Войну, по мнению Валлерстайна, начал не Север, а Юг с целью изменения сложившегося в мире соотношения сил. Саддам Хусейн указал путь к новому выбору: создание крупных государств на основе не второсортного, а первосортного оружия, готовность и даже желание риска настоящей широкомасштабной войны. Последствия этого выбора, время которого пришло только сейчас, могут, считает Валлерстайн, быть ужасными, включая ядерную войну.

С моральной точки зрения будущие войны Севера и Юга не отличаются от колониальных войн, пишет Валлерстайн, однако в политическом и военном отношении ситуация совершенно иная. Прежние войны носили, по сути, односторонний характер: Север выступал агрессором. Теперь военные конфликты будут обоюдоострыми, уверенность Юга будет расти. Поэтому, скорее всего, несмотря на Вьетнам, Алжир и т.д., период 1945–1990 гг. следует рассматривать как время относительного мира в отношениях Севера и Юга между двумя «длинными волнами» войн — колониальной экспансией XVII–XIX вв. и «южно-северными» войнами XXI в.

Третий вариант — выбор индивидуального сопротивления и физического перемещения. По мнению Валлерстайна, в XXI в. в условиях поляризации «Север — Юг», спада демографического роста на Севере и его увеличения на Юге трудно будет сдержать нелегальную и полулегальную миграцию рабочей силы с Юга на Север. В результате к 2025 г. «Юг на Севере» может составить от 30 до 50% населения. Логично предположить, что выходцы с Юга будут лишены на Севере политических прав. В результате после 200 лет социальной интеграции рабочего класса центр СМС окажется в том положении, в каком он находился в начале XIX в., что, естественно, не сулит перспектив мира и покоя в обществе.

---

[1] *Wallerstein I.* The Cold War and the Third World: The Good Old Days. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1990. — P. 16.

Всё это, по мнению Валлерстайна, может привести к социальному взрыву на Юге, не укладывающемуся в рамки типологий привычных конфронтаций. Из опыта СМС после 1945 г., пишет он, ясно, что если широкое движение в какой-либо стране Третьего мира набирает инерцию, силам Севера очень трудно его остановить: война во Вьетнаме и иранская революция — памятники этой истине. Подавить волнения в Третьем мире после 2030 г. может оказаться значительно труднее, чем в период после 1975 г., именно из-за инерции, которая может возникнуть в 2000–2030 гг.

Может ли что-то нарушить циклические ритмы КМЭ — ставит вопрос Валлерстайн. В конце XX в. он считал возможными три варианта развития событий (сегодня, насколько мне известно, позиция учёного несколько изменилась в соответствии с мировыми изменениями).

Первый вариант: классическая модель прежних циклов борьбы за гегемонию, т.е. новая мировая война между Японо-Америкой и Европой.

Второй вариант: мир, истощённый экспансией КМЭ и устрашённый возможностью ядерного самоуничтожения, реорганизует СМС в нечто другое. Вопрос, однако, в том, кто и как будет реорганизовывать. Воплощение руссоистской общей воли никогда не было демократичным на внелокальном уровне, и это признавал сам Руссо. Поэтому существует реальная возможность того, что посредством манипуляций тех, кто имеет власть в СМС, последняя будет сознательно превращена в новую структуру, основанную на неравенстве в привилегиях.

Третий вариант: неконтролируемый развал СМС, общественный хаос. Именно этот, третий, сценарий может, по мнению Валлерстайна, вывести мир к относительно эгалитарному и демократическому миру (у меня этот тезис вызывает большое сомнение).

Все три варианта будут развиваться в таком мире, в котором главной политической реальностью становится выдвижение неевропейских цивилизаций. Экономический подъём Японии хорошо символизирует этот процесс, хотя не может быть его центральным пунктом, поскольку сам процесс исходно многообразен и полицентричен (напомню, что эту позицию Валлерстайн отстаивал до того, как Япония начала погружаться в кризис, который мир-системники не смогли предсказать). Поэтому в той степени, в какой КМЭ будет продолжать развиваться в циклических ритмах, Японии суждено играть всё более важную роль в этой системе. Однако чем бóльшие обороты будет набирать структурная трансформация, традиционный цикл гегемонии скорее всего так и не реализуется полностью. Цивилизационное выдвижение — в его много- и разнообразии — было элементом межгосударственных отношений со времени Бандунгской конференции. Его дипломатическая эффективность была ограниченной, но его сила и то, что можно охарактеризовать как популярную идеологию, сомнений не вызывают.

Центральная проблема XXI в., считает Валлерстайн, не в «упадке» Запада, а в превращении, в переходе нашей нынешней мир-системы в другую форму (или другие формы) исторической системы. Исторические переходы имеют несколько характерных черт. Их начало не означает прекращения тенденций развития прежней исторической системы. Напротив, они интенсифицируются, что провоцирует структурный кризис. Капиталисты не перестанут быть капиталистами, а администраторы — администраторами. В следующие 75 лет интенсифицируются товаризация, контрактуализация производства, производительность, технические нововведения. У тех, кто по идеологическим причинам хочет подчеркнуть розовую сторону картины, будет много аргументов. Важно понять, что переход, кончина исторической системы — это скорее полная самореализация, нежели упадок.

Тем не менее в одной, очень важной области это несомненный упадок: надвигается медленное сокращение процесса накопления. По мере его развития, делает Валлерстайн очень важный вывод, нормальная конкуренция внутри элиты превратится в постоянную междоусобную борьбу. Пока это не произошло, но как только произойдёт, откроется путь для непоправимых разрывов политического порядка, т.е. того, что представители антисистемных движений предсказывали в течение последних 150 лет. Причину неточности предсказаний Валлерстайн видит в том, что они всегда исходили из выступлений низших классов, тогда как истинной причиной упадка исторической системы является падение духа тех, кто охраняет существующий строй[1].

Когда в процессе перехода приближается стадия упадка и становится очевидным, что возникнет новая историческая система, тогда (и только тогда!) начинается настоящая борьбы. Когда истинно фундаментальные изменения неизбежны, то все, или почти все, хватаются за них, и это опасно. Упадок строя становится одновременно упадком идеологии. Когда все говорят на языке изменений, трудно отличить благородных овец от паршивых коз, защитников привилегий от их оппонентов, герольдов эгалитаризма от сторонников ложного эгалитаризма. Мы, подчёркивает Валлерстайн, находимся у входа в эту фазу, и она точно совпадает с процессом упадка и обновления гегемонии в ныне существующей исторической системе. Это обещает в следующие 75 лет совершенно запутанное смешение континуитета (повторение существующих общественных форм) и принятия всеми сторонами изменения этих форм в качестве руководящего принципа.

Как мы видим, в 1990-е годы среди мир-системных прогнозов не оказалось ни китайского рывка, ни второго издания гегемонии США как кластера ТНК (после и в результате крушения СССР), ни надвигающегося глобального ва-

---

[1] *Wallerstein I.* Japan and the Future Trajectory of the World-System: Lessons from History. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1986. — P. 13.

лютно-финансового кризиса. Многие события и, что ещё важнее, тенденции развития кончика XX и начала XXI в. оказались для мир-системников неожиданностью. А как оценивает Валлерстайн перспективы развития самого МСА?

Мир-системный анализ: Задачи и перспективы

Состояние политики в нынешней ситуации далеко от ясности, так как реальной ареной борьбы, считает Валлерстайн, не являются ни межгосударственные отношения, ни противостояние «Восток — Запад», «Север — Юг» или европейская культура против неевропейской. Многие настаивают, однако, на том, что именно здесь разворачивается борьба. Но эти аргументы — чисто идеологическая завеса, в которой многие заинтересованы именно потому, что это уводит нас от прояснения вопроса об истинных аренах борьбы. Главными аренами Валлерстайн считает поля действий «новых» антисистемных движений и мировую социальную науку (характерная позиция для левого интеллектуала — как левого и как интеллектуала, — с характерной для них гипертрофией ко всему остальному; здесь уместно вспомнить Дж. Оруэлла, который писал: «если у интеллектуала социализм — это вопрос теории, то у работяги — это лишняя бутылка молока для его ребёнка»). По его мнению, МСА предстоит сыграть значительную роль в грядущей схватке за облик и суть будущей исторической системы.

Подведя в 1990 г. итоги 15-летия мир-системных исследований («первая фаза»), он в то же время наметил три комплекса проблем и задач для «второй фазы» (ближайшие 10–20 лет).

Первый — разработка концепции иных, чем СМС, мир-систем, которая может иметь три результата: 1) переоценка того, чтó есть СМС; в) переоценка того, чтó есть мир-система; 3) начало систематического сравнительно-исторического анализа различных мир-систем. Приведёт ли это к появлению нового номотетического мировоззрения (наука мир-системной компаративистики) или нового идиографического мировоззрения («описание уникальной мир-системы, возникшей 10 тыс. лет назад») — остаётся неясным.

Второй — определение и измерение поляризации в СМС. В послевоенный период поляризация стала относительно непопулярным понятием. МСА оживил её, однако до сих пор тщательно поляризация не исследовалась. Как вообще доказать её существование? Поляризация имеет место между зонами и классами, тогда как статистика носит государственный характер. Как измерить? Как перевести в денежное измерение ту часть дохода, которая в принципе не монетаризуется? Как быть с проблемой качества жизни? — ставит вопросы Валлерстайн. Например, в современном мире живёт больше людей, чем раньше, и очевидно, меньше пространства используют люди на полярных

краях спектра распределения дохода? Как об этом узнать? Как измерить здоровье? Если бы мы все жили в среднем на «икс» лет дольше, это было бы проще; но дело в том, что одна часть населения мира живёт на «икс» лет дольше на таком уровне здоровья, который позволяет хорошее функционирование, а другая — в лучшем случае на уровне, адекватном формуле «кефир + пурген». Все эти вопросы не только технические, но и методологические.

Третий комплекс — изучение вопроса о тех исторических шансах и о тех формах исторического выбора, с которыми мы столкнёмся в будущем[1]. Если все исторические системы имеют конец и если верно, что СМС движется к концу, то самое время заняться утопистикой — не утопией, а именно утопистикой. Утопистикой Валлерстайн называет науку утопических утопий, т.е. попытку прояснить реальные исторические альтернативы, возникающие перед нами, когда историческая система входит в свою кризисную фазу, и оценить в этот момент крайних флуктуаций плюсы и минусы альтернативных стратегий.

Подчёркивая антимеждисциплинарную направленность мир-системного анализа, Валлерстайн считает, что ещё недостаточно сделано в области оформления МСА как реальной, т.е. единой и неделимой дисциплины, отражающей человеческую деятельность в её целостности. Решение этой задачи имеет не только теоретико-методологическую, но и организационно-прикладную сторону. Институциализация нынешнего состояния науки и её фактографическое насыщение заняли около ста лет. Мир-системный подход требует сбора особого — мир-системного — фактического материала, требует усилий тысяч учёных на протяжении десятков лет. Тем не менее, поскольку сторонники МСА противостоят конвенциальной социальной науке по теоретическим и методологическим вопросам, им, возможно, не удастся избежать организационных последствий радикальных взглядов. «Скорее всего, однако, это задача третьей фазы, для второй фазы и так уже достаточно задач»[2], — пишет Валлерстайн. Разумеется, особое внимание на второй и третьей фазах должно быть уделено развитию концепций современного кризиса, анализу культуры и науки как сфер, куда перемещается социальная борьба, анализу цивилизаций, разработке утопистики и стратегии выхода из кризиса.

Здесь не место давать общую оценку результатов МСА, потому ограничусь краткой констатацией. В начале XXI в. мир-системники продвинулись в решении задач «второй фазы», однако в целом её достижения не очень впечатляют по сравнению с «первой фазой». Впрочем, одно дело, когда пробивается стена, а другое — когда подбирают осколки и выравнивают отверстие, первое всегда выглядит эффективнее. Нужно признать, что основные идеи

---

[1] *Wallerstein I.* World-System Analysis: the Second Phase // Review. — Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1990. — Vol. 13, No. 2. — P. 288.

[2] *Wallerstein I.* World-System Analysis: the Second Phase. — P. 293.

МСА были сформулированы на «первой фазе». В 1990–2000-е годы ни Валлерстайн, ни его коллеги по мир-системному цеху ничего качественно нового, на мой взгляд, не добавили к старому корпусу идей и концепций. Лучшим, наиболее креативным временем в развитии МСА были 1980-е — самое начало 1990-х годов, именно поэтому в данной работе подавляющее число ссылок относится к этому периоду, позже — главным образом количественный рост. Так, в 1999 г. на международном семинаре «Мир, в который мы вступаем, 2000–2050» И. Валлерстайн представил доклад в виде 32 тезисов, в котором изложил мир-системную схему развития мира в 1450–2050 гг. Несмотря на бурные 1990-е, изменившие многое как в реальности, так и в наших представлениях о ней, 32 тезиса Валлерстайна — где-то на пути от 11 тезисов Маркса к 99 тезисам Лютера — повторили в сжатом виде то, что было прописано в первые 15 лет существования МСА (1975–1990 гг.). Нет прорывных работ и у других мир-системников. Похоже, МСА развивается так же, как и все парадигмы: качественный скачок сменяется количественным ростом, в ходе которого поднимаемые проблемы становятся всё мельче и у́же. По терминологии Т. Куна это переход к фазе нормальной науки, я бы сказал, «рутинизация МСА». В связи с этим для перевода мы выбрали текст, написанный Валлерстайном в период подъёма МСА (1983; «Капиталистическая цивилизация» добавлена в издании 1995 г.), текст, в котором в простой и доступной форме изложены основные положения МСА по поводу капитализма.

«Исторический капитализм» и «Капиталистическая цивилизация» — весьма интересные работы, написанные интересным автором. Думаю, их с пользой прочтут многие. Особенно полезны они были бы тем, кто уже второе десятилетие пытается запихнуть нас в светлое капиталистическое будущее — Поле Чудес (т.е. в реальности — помойку) в Стране Дураков. Впрочем, **эти запихиватели** книги не читают, они по другой части, например, стащить то, что плохо (или даже хорошо) лежит, ограбить — в духе Лисы Алисы и Кота Базилио. Книга замечательного американского учёного Иммануила Валлерстайна о капитализме хорошо прочищает мозги по поводу этой системы и её будущего — «кто не слеп, тот видит», как говаривал один деятель советской истории. И не надо в данном контексте обращать излишнее внимание на его ошибки (на мой взгляд) в интерпретации России и СССР в мировой системе — об эту проблему сломал зубы не один исследователь. В данном случае для нас первостепенную важность имеет то, что Валлерстайн пишет о капитализме, так что последуем совету американского учёного: *«let us write down right things»*. А про Россию и СССР — и самих по себе, и в мировой системе — мы сами напишем, не перепоручая никому это серьёзное дело и надеясь в этом плане только на себя. А сейчас перед нами — исторический капитализм и капиталистическая цивилизация.

Иммануил Валлерстайн

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ

ВВЕДЕНИЕ

Непосредственная причина написания этой книги — две просьбы, последовавшие одна за другой. Осенью 1980 г. Тьери Пако попросил меня написать небольшую книгу для серии, которую он издавал в Париже. Он предложил тему «капитализм». Я ответил, что в принципе согласен, но хотел бы, чтобы темой стал «исторический капитализм».

Я понимал, что о капитализме многое уже написано марксистами и другими политически левыми, однако большинство этих книг страдало одним из двух недостатков. Первый — это в основном логико-дедуктивный анализ, который начинался с определений того, в чём заключается суть капитализма, и в котором рассматривалось, в какой степени капитализм развился в разных местах и в разное время. Второй недостаток — концентрация на недавних крупных изменениях капиталистической системы; при таком подходе вся предшествующая этим изменениям история служит лишь неким мифологизированным фоном, на котором и изучается эмпирическая реальность настоящего.

Мне представляется неотложной задачей — в известном смысле именно её решению посвящён весь корпус моих исследований последних лет — анализ капитализма как исторической системы на протяжении всей его истории и в конкретной уникальной реальности. Таким образом, я ставлю перед собой задачу описать эту реальность, очертить именно то, что постоянно менялось, и то, что не изменилось вовсе (так, чтобы мы могли обозначить всю реальность одним термином).

Как и многие другие, я считаю эту реальность интегрированным целым. Однако многие сторонники такого подхода реализуют его в форме критики других за их якобы «экономизм», культурный «идеализм» или сверхакцентирование политических, «волюнтаристских», факторов. Почти имманентной чертой такой критики является то, что она рикошетом превращается в грехи и ошибки, зеркальные тем, которые являются её объектом. Поэтому я

постарался ясно представить всю интегрированную реальность, рассматривая последовательно, как она выражается в экономической, политической и культурно-идеологической сферах.

Вскоре после того, как я в принципе дал согласие написать эту книгу, я получил приглашение от кафедры политической науки Гавайского университета прочитать ряд лекций. Я воспользовался возможностью написать эту книгу как лекции, прочитанные весной 1982 г. Первая версия первых трёх глав была представлена на Гавайях, и я благодарен моей оживлённой аудитории за многочисленные комментарии и критические замечания, позволившие мне значительно улучшить изложение материала.

Одним из произведённых мной улучшений стало то, что я добавил четвёртую главу. В ходе лекций я понял, что в изложении материала остаётся одна проблема: огромная подспудная сила веры в неизбежный прогресс. Я также осознал, что эта вера искажает наше понимание тех реальных исторических альтернатив, которые лежат перед нами. Поэтому я решил специально остановиться на данном вопросе.

Под конец позволю себе сказать несколько слов о Карле Марксе. Это — монументальная фигура современной интеллектуальной и политической истории. Он завещал нам великое наследие — концептуально богатое и морально вдохновляющее. Однако его слова о том, что он не марксист, мы должны принимать всерьёз и не сбрасывать их со счетов как *bon mot*.

В отличие от многих из его самопровозглашённых последователей, Маркс знал, что он был человеком XIX в., и что его вúдение неизбежно ограничивалось социальной реальностью того времени. В отличие от многих, он знал, что теоретическая формулировка понятна и действенна лишь при сопоставлении с альтернативной формулировкой, которую она прямо или косвенно критикует, и что она совершенно не имеет смысла относительно формулировок и схем, которые разработаны для решения других проблем, основанных на других посылках. В отличие от многих, он знал, что в его работе есть противоречие между описанием капитализма как логически идеальной (*perfected*) системы (которой на самом деле никогда не существовало) и анализом конкретной повседневной реальности капиталистического мира.

Поэтому давайте подходить к его работам единственно разумным образом — воспринимать Маркса как товарища в борьбе, который знал столько, сколько он знал.

ГЛАВА I Товаризация всего: производство капитала

Капитализм — это прежде всего и главным образом историческая социальная система. Чтобы понять его происхождение, функционирование или нынешние перспективы, мы должны рассматривать его в том виде, в каком он существует в реальности. Конечно, можно попытаться представить эту реальность как сумму абстрактных положений, однако было бы глупо использовать такие абстракции для описания и классификации этой реальности. Вместо этого я предлагаю попытаться описать, чем в действительности капитализм был на практике, как он функционировал в качестве системы, почему он развивался так, как развивался, и в каком направлении он движется сегодня.

Слово «капитализм» происходит от слова «капитал». Следовательно, резонно предположить, что капитал является ключевым элементом в капитализме. Но что такое капитал? Одно из значений этого слова имеет в виду просто накопленное богатство. Однако в контексте исторического капитализма оно имеет более узкое (*specific*) определение. Это не только запас потребительских товаров, оборудование или санкционированные притязания на материальные факторы в виде денег. Капитал в историческом капитализме, конечно, продолжает оперировать накопленными результатами прошлого труда, которые ещё не использованы; однако если бы дело ограничивалось только этим, то все исторические системы, начиная со времен неандертальца, можно назвать капиталистическими, поскольку все они имели такие накопленные запасы, в которых воплощался прошлый труд.

Историческую социальную систему, которую мы называем историческим капитализмом, отличает то, что в ней капитал стал использоваться (вкладываться) совершенно особым образом. Главной целью или главным намерением его использования стало саморасширение (*selfexpansion*). В этой системе прошлые накопления были «капиталом» лишь в той степени, в какой они использовались для большего их же накопления. Как мы увидим, этот процесс, несомненно, был сложным или даже запутанным. Однако именно эту неумолимую и самонаведённую цель владельца капитала — накопление ещё большего капитала и отношения, которые капиталовладелец должен был ус-

тановить с другими личностями, чтобы достичь этой цели, — мы называем капиталистической. Конечно, эта цель не была единственной. В процесс производства вторгались и другие соображения. Вопрос, однако, заключался в том, какие соображения в случае конфликта чаще всего брали верх. Всякий раз, когда со временем именно накопление капитала регулярно получало приоритет по отношению к альтернативным целям, мы вправе сказать, что наблюдаем капиталистическую систему в действии.

Индивид или группа индивидов могли бы, конечно, в любое время решить предпочесть вложение капитала с целью приобретения большего капитала. Однако до определённого момента в историческом развитии такие индивиды не имели никаких шансов на успех. В предшествующих капитализму системах длительный и сложный процесс накопления капитала почти всегда блокировался в той или иной точке, даже тогда, когда существовало его исходное условие — собственность или концентрация запаса ранее использованных средств в руках немногих лиц. Наш предполагаемый капиталист всегда нуждался в использовании рабочей силы; это означало, что должны были существовать лица, которых можно было бы заинтересовать такой работой или заставить выполнить её. После того как рабочих находили и производили товары, последние нужно было каким-то образом продать, что требовало наличия системы распределения и группы покупателей с необходимыми средствами для приобретения товаров. Товары нужно было продать по цене большей, чем общие расходы (с точки зрения продаж), понесённые продавцом. Более того, разница между ценой и совокупными издержками должна была превышать средства, необходимые продавцу для поддержания собственного существования. Выражаясь нашим современным языком, должна была быть получена прибыль. Владелец прибыли должен был быть способен сохранить эту прибыль до появления разумной возможности вложить её, после чего весь процесс повторялся с момента производства.

Однако в реальности в досовременный период эта цепь процессов (называемая иногда оборотом капитала) редко замыкалась. Прежде всего, многие звенья товарной цепи в исторических социальных системах прошлого рассматривались как иррациональные и/или аморальные теми, кто обладал политической и моральной властью. Но даже и без вмешательства власти указанный процесс обычно срывался из-за отсутствия одного или нескольких элементов процесса — накопленных активов в денежной форме, рабочей силы, которая должна быть использована производителем, сети распределительных организаций, потребителей-покупателей.

Один или более элементов отсутствовали, потому что в предыдущих исторических социальных системах они были либо не «товаризованы», либо недостаточно «товаризованы». Это означает, что данный процесс не рассматривался как такой, который может или должен быть проведён (*transacted*)

через «рынок». Следовательно, исторический капитализм предполагал широкомасштабную товаризацию процессов — процессов не только обмена, но также производства, распределения и инвестирования, которые раньше шли не через «рынок». В стремлении к накоплению всё большего и большего капитала капиталисты старались товаризовать всё большее и большее число этих общественных процессов во всех сферах экономической жизни. Поскольку капитализм — это процесс, целью которого является он сам (*self-regarding process*), ни одно социальное взаимодействие не могло избежать включения в него. Поэтому мы можем сказать, что историческое развитие капитализма предполагало толчок к всеобщей товаризации.

Однако товаризации социальных процессов было недостаточно. Производственные процессы были связаны друг с другом в сложные товарные цепи. Возьмём, например, типичный продукт, широко производившийся и продававшийся на протяжении всей истории капитализма, — одежду. Чтобы произвести его, необходимы по крайней мере ткань, нитки, какая-то машина и рабочая сила. Все эти предметы, в свою очередь, требуется произвести, как и предметы для их производства. Товаризация каждого субпроцесса в этой товарной цепи не была ни неизбежной, ни широко распространённой. На самом деле, как мы увидим, прибыль часто увеличивается именно тогда, когда не все звенья цепи товаризованы. Ясно, что в такой цепи существует очень большая и разветвлённая группа работников, получающих какое-то вознаграждение, фиксируемое в балансовом отчёте как издержки. Имеется также гораздо меньшая по численности, но тоже обычно разбросанная группа людей (они к тому же не объединены как экономические партнеры, а выступают в качестве отдельных экономических агентов), которые каким-то образом имеют свою долю в конечной разнице (марже), образующейся в товарной цепи как разница между общими издержками производства в цепи и общим доходом, реализуемым в результате распоряжения конечным продуктом.

Как только появились товарные цепи, связывающие многочисленные производственные процессы, норма накопления для всех «капиталистов» вместе взятых стала функцией того, насколько можно увеличить указанную разницу в тех случаях, когда она могла значительно колебаться. Однако норма накопления для отдельных капиталистов была функцией процесса «конкуренции» с бóльшим вознаграждением для тех, кто обладал большей проницательностью суждений, большей способностью контролировать свою рабочую силу и бóльшими возможностями политически ограничивать рыночные операции (эти возможности известны под общим названием «монополии»).

Это создало первое базовое противоречие в системе. Хотя казалось, что в интересах всех капиталистов, взятых как класс, — сократить все издержки

производства, на самом деле это сокращение часто давало преимущество одним капиталистам над другими, и поэтому некоторые предпочитали увеличить свою долю в меньшей мировой марже, а не смириться с меньшей долей в большой мировой марже. Далее, в системе существовало второе базовое, фундаментальное противоречие. По мере накопления всё большего и большего капитала, товаризации всё большего числа процессов и производства всё большего объёма товаров одним из ключевых требований к сохранению потока производства и накопления стала необходимость во всё большем числе покупателей. Однако усилия, направленные на сокращение издержек производства, часто уменьшали этот поток и соответственно, долю распределяемых денег, препятствуя таким образом устойчивому росту числа покупателей, необходимого для завершения процесса накопления. В то же время распределение мировой прибыли такими способами, которые могли расширить сеть покупателей, часто уменьшало мировую маржу прибыли. Поэтому получалось, что индивидуальные предприниматели как владельцы собственного бизнеса (например, сокращая свои издержки на рабочую силу) двигались в одном направлении, а как коллективные члены класса в то же время двигались в другом направлении — в сторону увеличения всеобщей сети покупателей (что неизбежно включало, по крайней мере для части производителей, увеличение издержек на рабочую силу).

Экономика (*economics*) капитализма, таким образом, управляется рациональным стремлением к максимальному увеличению накопления. Однако то, что было рациональным для предпринимателей, вовсе не обязательно было рациональным для рабочих. Ещё более важно следующее: то, что было рациональным для всех предпринимателей как коллективного целого, как группы, вовсе не обязательно было рациональным для каждого отдельного предпринимателя. Поэтому недостаточно констатировать, что каждый преследовал свои собственные интересы. Собственные интересы каждого человека, нередко вполне «рационально», подталкивали его к участию в противоречащих друг другу действиях. В результате расчёт реального долгосрочного интереса становится чрезвычайно сложным, даже если мы, как в данном случае, абстрагировались от степени, в которой осознание каждым своих собственных интересов было закрыто и искажено идеологической завесой. На короткое время я условно допускаю, что исторический капитализм фактически действительно вывел *homo economicus*, но я добавляю, что, как правило, этот *homo* был немного растерянным.

Это ограничение, ставившее предел беспорядку, носило «объективный» характер. Если тот или иной индивид постоянно ошибался в оценке экономической ситуации, неважно, из-за неведения, глупости или идеологических предрассудков, шансы этого индивида (фирмы) выжить на рынке были невелики. Банкротство было жёстким очистительным раствором капиталисти-

ческой системы, постоянно заставляющим всех экономических агентов (*actors*) придерживаться более или менее хорошо протоптанного пути, принуждающего их действовать так, чтобы коллективно происходило дальнейшее накопление капитала.

Таким образом, исторический капитализм — это конкретный, ограниченный во времени и пространстве целостный (*integrated*) локус производственной деятельности, в котором бесконечное накопление капитала является экономической целью, «законом», управляющим или преобладающим в основных формах экономической деятельности. Это — социальная система, в которой именно те, кто действует по её правилам, оказывают решающее влияние на социальное целое и задают некие условия, а все остальные должны либо приспосабливаться к ним, либо пенять на себя. Это такая социальная система, в которой поле действия (*scope*) этих правил (закон стоимости) увеличивалось; те, кто навязывал эти правила, становились всё менее склонными к социальному компромиссу; эти правила всё больше и глубже проникали в социальную ткань, несмотря на то, что общественное противодействие им становилось всё сильнее и организованней.

Используя подобное описание того, что имеется в виду под историческим капитализмом, каждый из нас может определить, к какому конкретному ограниченному во времени и пространстве интегрированному локусу оно относится. Я считаю, что генезис этой исторической системы имел место в Европе конца XV в.; со временем система расширилась, охватив к концу XIX в. весь мир, и в настоящее время она все ещё охватывает весь мир. Я понимаю, что такое поверхностное описание временно-пространственных границ у многих вызовет сомнения. Речь идёт о сомнениях двоякого рода. Первые — эмпирические сомнения. Была ли Россия внутри или вне европейской мир-экономики в XVI в.? Когда точно Османская империя была включена в капиталистическую мир-систему? Можем ли мы рассматривать ту или иную внутреннюю зону того или иного государства в тот или иной момент как действительно «включённую» в капиталистическую мир-экономику? Эти вопросы важны как сами по себе, так и потому, что, пытаясь ответить на них, мы вынуждены уточнять наш анализ исторического капитализма. Однако здесь не время и не место обращаться к этим многочисленным эмпирическим вопросам, которые продолжают обсуждаться и разрабатываться.

Второй тип сомнений касается самой полезности индуктивной классификации, которую я только что предложил. Есть люди, отказывающиеся допустить, что о существовании капитализма вообще можно говорить, если отсутствует специфическая форма социальных отношений на рабочем месте, при котором частный предприниматель нанимает наёмных работников. Есть те, кто считает, что если то или иное государство национализировало

свою промышленность и объявило о своей приверженности социалистическим доктринам, то этими действиями (и их последствиями), оно прекратило свое участие в капиталистической мир-системе. Это не эмпирические, а теоретические вопросы, и мы попытаемся затронуть их в настоящей работе. Подходить к ним под дедуктивным углом зрения бессмысленно, так как это привело бы не к рациональному спору, а просто к столкновению противостоящих убеждений. Поэтому мы обратимся к ним эвристически и попытаемся доказать, что наша индуктивная классификация полезнее альтернативных, поскольку она проще и яснее объясняет наше коллективное знание сегодняшнего дня об исторической реальности и поскольку она позволяет нам такую интерпретацию этой реальности, которая в данный момент даёт возможность действовать более эффективно.

Поэтому посмотрим на то, как в реальности функционировала капиталистическая система. Сказать, что цель производителя — накопление капитала, значит сказать, что он постарается произвести как можно больше того или иного товара и продать его, получив максимально возможную норму прибыли. Однако он будет делать это в условиях определённых экономических ограничений, существующих, как мы говорим, «на рынке». Его общее производство исходно по необходимости ограничено наличием таких факторов, как материальные вложения, рабочая сила, покупатели и доступ к наличным деньгам для расширения инвестиционной базы. Количество товара, которое он может с выгодой произвести, и маржа прибыли, на которую производитель может претендовать, тоже ограничены способностью его «конкурентов» предложить тот же вид товара по более низкой цене; речь идёт о конкурентах не где-то на «просторах» мирового рынка, а о тех, что продают свои товары на тех же местных рынках (как бы ни определять этот рынок в данном примере). Рост производства данного производителя будет также ограничиваться тем, в какой степени это расширяющееся производство снизит цены на «местном» рынке, что фактически сократит реальную общую прибыль, полученную его производством в целом.

Всё это — объективные ограничения. Это значит, что они существуют в отсутствие какого-либо особого комплекса решений, принимаемых теми или иными производителями, играющими активную роль на рынке. Эти ограничения суть следствия общего социального процесса, который развивается в конкретное время и в конкретном месте. Конечно, всегда существуют и другие ограничения, которыми легче манипулировать. Правительства могут принимать или уже приняли определённые правила, так или иначе меняющие экономический выбор, а следовательно, расчёт прибыли. Конкретный производитель может выиграть в результате существующих правил, а может стать их жертвой; он может пытаться убедить политические власти изменить их правила в его пользу.

Как действовали производители, чтобы максимально увеличить свою способность накапливать капитал? Рабочая сила всегда была главным и количественно важным элементом в производственном процессе. Производителя, стремящегося к накоплению, интересуют два аспекта рабочей силы: её доступность и её стоимость. Проблема доступности обычно ставилась так: общественные отношения производства, которые носили постоянный характер (стабильная рабочая сила для данного производителя), могли быть низкозатратными, если рынок был стабильным, а численность рабочей силы производителя — оптимальной для данного времени. Однако если рынок для данного продукта сужался, то постоянная занятость увеличивала реальную стоимость рабочей силы для производителя. А если рынок продукта расширялся, постоянный характер рабочей силы лишал производителя возможности извлекать выгоду из прибыльных возможностей.

Но и колеблющаяся занятость (временная рабочая сила) имела свои недостатки с точки зрения капиталистов. По определению это были такие работники, которые необязательно постоянно заняты у одного и того же производителя, поэтому их доход постоянно колебался, а периоды занятости чередовались с периодами безработицы. В связи с этим временно занятые работники должны были подходить к вопросу о вознаграждении за труд иначе, чем те, кто работал постоянно: они должны были добиваться такой зарплаты, которой хватило бы на период, значительно более длительный, чем отрезок временного найма. В результате временная рабочая сила часто стоила производителям больше в почасовом и индивидуальном отношении, чем постоянная рабочая сила.

Когда мы сталкиваемся с противоречием (а здесь, в самом сердце капиталистического производственного процесса, мы столкнулись именно с ним), то можем быть уверены, что результатом станет исторически нелёгкий компромисс. Посмотрим на то, что, по сути, произошло. В исторических системах, предшествовавших историческому капитализму, бóльшая часть рабочей силы (но никогда не вся полностью) была постоянной. В некоторых случаях рабочей силой производителя были лишь он сам либо его семья, поэтому такая рабочая сила по определению постоянна. В некоторых случаях работники, не являвшиеся родственниками производителя, были прикреплены к нему с помощью закона и/или обычая (различные формы рабства, долговая кабала, крепостничество, соглашение о постоянной аренде и т.д.). Иногда связь носила пожизненный характер, иногда — временный, но с правом возобновления; однако такое временное ограничение было разумным лишь при существовании реальных альтернатив на момент возобновления связи. В такой ситуации постоянный характер этих связей и договорённостей создавал проблемы не только для отдельных производителей, к которым был прикреплён конкретный работник, но и для всех других производите-

лей. Последние могли расширять свою деятельность лишь до тех пор, пока в наличии была доступная временная рабочая сила.

Так возникла (этот процесс часто описывается) основа для развития института наёмного труда. Этот институт предполагал существование группы людей, постоянно более или менее доступных для найма теми лицами, которые предлагали наивысшую цену. Мы определяем этот процесс как операции на рынке труда, а людей, продающих свою рабочую силу, — как пролетариев. Я не скажу ничего нового, утверждая, что при историческом капитализме шёл процесс нарастающей пролетаризации рабочей силы. Это утверждение не только не ново — оно ни в малейшей степени не удивительно. Преимущества процесса пролетаризации для производителей подробно задокументированы. Удивительно не то, что пролетаризация была столь значительной по своим масштабам, а то, что на самом деле она была столь незначительной. Историческая социальная система капитализма существует уже по крайней мере четыреста лет, однако пролетаризованная рабочая сила в капиталистической мир-экономике и сегодня не достигает даже 50%.

Эта статистика, конечно, зависит от того, как считать и кого считать. Если использовать официальную правительственную статистику так называемой экономически активной рабочей силы, т.е. главным образом взрослых мужчин, которые выходят на рынок рабочей силы, то мы увидим, что процент наёмных рабочих сейчас довольно высок (хотя даже когда он подсчитан для всего мира, фактический процент меньше, чем предполагается большинством теорий). Однако если мы примем во внимание всех людей, чья работа так или иначе включена в товарные цепи, в том числе также фактически всех взрослых женщин и весьма большую часть детей, не достигших совершеннолетия, и пожилых людей (т.е. молодых и старых), тогда наш процент пролетариев резко падает.

Сделаем ещё один шаг, прежде чем начинать подсчёт. Полезно ли в концептуальном плане применять термин «пролетарий» по отношению к индивиду? Я в этом сомневаюсь. При историческом капитализме, как и при предыдущих исторических системах, индивиды, как правило, жили в рамках относительно стабильных структур, в которых общий фонд текущих доходов и накопленный капитал составляли единое целое и которые мы можем назвать домашним хозяйством, или дворохозяйством (*household*). Тот факт, что границы этих хозяйств постоянно меняются из-за притока и оттока индивидов, не умаляет значения этих хозяйств как единиц рационального расчёта вознаграждения и расходов. Люди, стремящиеся выжить, считают весь свой потенциальный доход, независимо от его источника, и оценивают его с точки зрения реальных расходов, которые они должны понести. Их минимальная цель — выжить; затем, обладая бóльшим доходом, наслаждаться образом жизни, который они считают удовлетворительным; и наконец, далее, с ещё

бóльшим доходом вступить в капиталистическую игру в качестве накопителей капитала. Для всех реальных целей именно домашнее (дворо-) хозяйство — экономическая единица, участвующая во всех формах деятельности. Обычно оно состояло из родственников (однако не всегда и не только из них), было большей частью соседским, но по мере развития товаризации постепенно утрачивало этот характер.

Именно в контексте такой структуры домашнего хозяйства рабочим классам стало навязываться общественное разделение труда на производительный и непроизводительный. *De facto* производительный труд стал определяться как труд по зарабатыванию денег (главным образом, наёмный труд), а непроизводительный труд — как труд хотя и вполне необходимый, но представлявший собой лишь деятельность по поддержанию жизни (*«subsistence» activity*). В связи с этим считалось, что труд, непосредственно не приносящий заработка, не производит никакого «излишка», который мог бы быть присвоен кем-то другим. Этот труд был либо полностью нетоваризованным, либо включал мелкое (но в таком случае действительно мелкое) товарное производство. Различие между типами труда закреплялось созданием особых ролей, присущим им. Производительный (наёмный) труд стал делом в первую очередь взрослых мужчин/отцов и во вторую очередь — других (более молодых) взрослых мужчин в домашнем хозяйстве. Непроизводительный труд (по поддержанию жизни) стал делом в первую очередь взрослых женщин/матерей и во вторую очередь — других женщин плюс детей и стариков. Производительный труд совершался вне домашнего хозяйства на «рабочем месте», а непроизводительный труд — в домашнем хозяйстве.

Разграничительные линии между двумя этими видами труда, конечно, не были абсолютными, но при историческом капитализме они стали вполне ясными и непреодолимыми. Разделение реального труда по половому и возрастному признакам, конечно же, не было изобретением исторического капитализма. Вероятно, оно существовало всегда, хотя бы только потому, что для некоторых видов работ существуют биологические предпосылки и ограничения (как половые, так и возрастные). Иерархическая семья и/или структура домашнего хозяйства также не были изобретением капитализма. Они тоже давно существовали.

Новое, что принёс исторический капитализм — это корреляция между разделением труда и его оценкой. Мужчины могли часто выполнять работу, отличную от женской (а взрослые — работу, отличную от таковой детей и стариков), но при историческом капитализме шёл процесс постоянного обесценивания женского труда (а также труда молодых и старых) и, соответственно, всё большего акцентирования значения труда взрослых мужчин. В то время как в других системах мужчины и женщины выполняли специфическую (но обычно равно оцениваемую) работу, при историческом капита-

лизме взрослый мужчина — наёмный рабочий попадал в разряд «добытчиков», «кормильцев» (*breadwinner*), а взрослая женщина, работающая по дому, — в разряд «домохозяек». Таким образом, когда началось составление национальной статистики, которая сама есть продукт капиталистической системы, все кормильцы (в отличие от домохозяек) стали рассматриваться как представители экономически активной рабочей силы. Так был институционализирован сексизм. Легальный и внелегальный аппарат гендерного разделения и дискриминации вполне логично следовал за появлением этой базовой дифференцированной оценки труда.

Отметим также, что концепции длительного (extended) детства/юности и «выхода на пенсию», не связанного с болезнью или состоянием здоровья, также были специфическими сопутствующими обстоятельствами появления структур домашнего хозяйства исторического капитализма. Их часто рассматривали как «прогрессивное» освобождение от работы. Однако более точно их можно рассматривать в качестве нового определения (*redifinition*) труда как не-труда. К причинённой таким определением боли добавилось оскорбление: на различные учебные формы деятельности детей и разнообразные обязанности вышедших на пенсию взрослых ставилась печать «развлечение» (*fun*); их трудовой вклад как резонная оборотная сторона (*counter-part*) их освобождённости от «тяжёлой, монотонной работы» «реального» труда систематически обесценивался.

В качестве идеологической позиции эти изменения в оценке различных видов труда помогли обеспечить расширение и в то же время ограничение товаризации рабочей силы. Например, если бы мы взялись подсчитать сколько домашних хозяйств в мир-экономике приобрели более 50% своего реального дохода (или общего дохода во всех формах) от наёмного труда вне домашнего хозяйства, то думаю, мы бы быстро осознали поразительный факт незначительности этого процента; это так не только для прежних столетий, но даже для сегодняшнего дня, хотя этот процент, вероятно, постоянно увеличивался по мере исторического развития капиталистической мир-экономики.

Как это объяснить? Думаю, нетрудно. Если допустить, что производитель, нанимающий рабочего, всегда и везде предпочтет платить скорее меньше, чем больше, то низкий уровень, при котором рабочие могли бы позволить себе наём, определялся характерным для жизни наёмных рабочих типом домашнего хозяйства. Совсем упрощая, можно сказать: при одном и том же виде труда с одним и тем же уровнем эффективности наёмный работник из домашнего хозяйства с высоким процентом дохода от заработной платы (назовём это пролетарским домашним хозяйством) имел более высокий денежный порог, ниже которого заниматься наёмным трудом для него было явно нерационально, чем наёмный работник из домашнего хозяйства с низким

процентом дохода от заработной платы (назовём это полупролетарским домашним хозяйством).

Причина различий в том, что мы можно назвать порогом минимальной приемлемой заработной платы, связана с экономикой выживания (*economics of survival*). Там, где пролетарское домашнее хозяйство зависит главным образом от заработной платы, именно ею ему приходится покрывать минимальные затраты на выживание и воспроизводство. Однако если заработная плата составляла меньшую часть общего дохода домашнего хозяйства, то часто рациональным для индивида было поведение следующего типа: согласиться на такое вознаграждение, которое, будучи меньше, чем его пропорциональная доля (в почасовом расчёте) реального дохода, в то же время обеспечивает необходимую наличность (*necessary liquid cash*) (эта необходимость часто навязывается законом). Также рациональным в такой ситуации был отказ от найма в пользу менее оплачиваемых форм труда.

Полупролетарские хозяйства обеспечивали себе и другие формы дохода. В основном, это была продукция, производившаяся для собственного потребления или для продажи на местном рынке (либо для первого и второго одновременно). Независимо от того, кто обеспечивал этот доход и каков его пол, объективно это создавало излишек, снижавший порог минимальной приемлемой заработной платы. Таким образом, наличие системы работ, не связанной с наймом, позволяло некоторым производителям платить своим рабочим меньше, сокращая таким образом производственные издержки и увеличивая маржу прибыли. Поэтому неудивительно, что как правило любой наниматель рабочей силы предпочитал наёмных работников из полупролетарских, а не пролетарских домашних хозяйств. Если теперь мы посмотрим на мировую эмпирическую реальность сквозь призму времени-пространства исторического капитализма, то неожиданно обнаружим, что статистической нормой была концентрация наёмных рабочих в полупролетарских, а не пролетарских домашних хозяйствах. В интеллектуальном плане наша проблема вдруг ставится с ног на голову: от объяснения причин пролетаризации мы перешли к объяснению причин незавершённости этого процесса. Теперь мы должны пойти ещё дальше и ответить на вопрос: почему пролетаризация вообще имела место?

Сразу оговорюсь: весьма сомнительно приписывать рост мировой пролетаризации главным образом социально-политическому давлению со стороны страты предпринимателей. Совсем наоборот: у них было много причин не торопить пролетаризацию. Во-первых, как мы только что показали, превращение значительного числа полупролетарских домашних хозяйств в пролетарские в той или иной зоне вело к увеличению минимального уровня реальной заработной платы, выплачивавшейся нанимателями рабочей силы. Во-вторых, рост пролетаризации имел, как мы покажем позже, негативные

для работодателей политические последствия, которые накапливаясь, постепенно ещё больше увеличивали уровни заработной платы в данных эконом-географических зонах. В реальности пролетаризация вызывала столь мало энтузиазма у нанимателей рабочей силы, что они способствовали развитию половозрастного разделения труда. Более того, вдобавок они организовали свои структуры найма и использовали своё политическое влияние таким образом, чтобы поощрять проведение границ между этническими группами (*recognition of defined ethnic groups*). При этом наниматели стремились привязать определённые этнические группы к определённым видам трудовой деятельности, разумеется, с различным вознаграждением за труд. Этничность создала культурный панцирь, добавивший прочности модели полупролетарских домашних хозяйств как особому структурному типу. Появление этничности разделило трудящихся (*working class*) и в политическом отношении, что стало дополнительным выигрышем для работодателей, хотя, на мой взгляд, оно не было его первопричиной.

Прежде чем анализировать, как вышло, что пролетаризация вообще имела место при историческом капитализме, следует вернуться к вопросу о товарных цепях, в которых локализована сложная производственная деятельность. Следует отказаться от упрощённого представления, согласно которому «рынок» — это место встречи первоначального производителя и конечного потребителя. Несомненно, такие рынки есть и всегда были. Однако при историческом капитализме такие рыночные сделки составляют лишь малый процент. Большинство сделок представляло собой обмен между двумя промежуточными производителями, находящимися в длинной товарной цепи. Покупатель приобретал материалы для своего производственного процесса. Продавец сбывал «полуфабрикат» — полуфабрикат с точки зрения его конечного использования (непосредственного индивидуального потребления).

Борьба за цены на этих «промежуточных рынках» представляла собой попытку покупателя вырвать у продавца часть прибыли, полученной от всех предыдущих трудовых процессов в товарной цепи. Эта борьба, конечно, определялась в отдельных пространственно-временных цепях (*nexus*) предложением и спросом, но никогда лишь исключительно ими. Во-первых, конечно же, предложением и спросом можно управлять с помощью монопольных ограничений, что было скорее правилом, чем исключением. Во-вторых, продавец может влиять на цену в конкретной точке с помощью вертикальной интеграции. В тех случаях, когда «продавец» и «покупатель» представляли одну и ту же фирму, ценой можно было произвольно жонглировать исходя из фискальных и других соображений, однако такая цена никогда не являлась предметом взаимодействия только предложения и спроса. Вертикальная интеграция, как и «горизонтальная» монополия, не была редкостью. Конечно, мы знакомы с её самыми яркими примерами: привилегированные ком-

пании XVI–XVIII вв., большие торговые дома XIX в., транснациональные корпорации XX в. Это были глобальные структуры, стремившиеся включить как можно больше связей той или иной товарной цепи. Однако ещё более широко распространёнными были формы вертикальной интеграции помельче, включающие лишь несколько звеньев (или даже всего два звена) в цепи. Представляется верным вывод, что именно вертикальная интеграция была статистической нормой исторического капитализма, а не те «рыночные» узлы в товарных цепях, где продавец и покупатель по-настоящему выступают как стороны-антагонисты.

При историческом капитализме географические направления товарных цепей не были случайными. Если все их нанести на карту, то мы увидим, что они стремятся к центру. Их исходные точки были разбросаны по многим местам, а вот пункты назначения сходились в малом числе зон. Иными словами, движение товарных цепей мир-экономики шло от периферии к центрам (или ядрам). Это эмпирическое наблюдение трудно оспорить. Вопрос в том, почему дело обстояло именно так. Говорить о товарных цепях — это говорить о расширенном общественном разделении труда, которое в процессе исторического развития капитализма становилось всё более функциональным и географически охватывало всё большие территории, становясь одновременно всё более иерархичным. Эта иерархизация пространства в структуре производственных процессов вела к всё большей поляризации между ядром и периферийными зонами мир-экономики не только по линии распределения (уровни реального дохода, качество жизни), но, что ещё более важно, и по линии локализации накопления капитала.

В начале этого процесса пространственные различия были довольно незначительными, а пространственная специализация — ограниченной. Однако какими бы незначительными ни были эти различия, обусловленные экологическими или историческими причинами, в капиталистической системе они резко увеличились, усилились и приобрели жёсткую форму. Решающую роль в этом процессе сыграла сила как фактор определения цены. Разумеется, использование силы одной из сторон рыночных отношений с целью повышения цены своего товара не было изобретением капитализма. Неравный обмен — древняя практика. Особенностью капитализма как исторической системы был способ, с помощью которого можно было скрыть этот неравный обмен, — скрыть, по сути, настолько хорошо, что лишь по прошествии пяти столетий действия этого механизма даже явные противники капитализма начали систематически раскрывать её тайны.

Ключ к сокрытию этого центрального механизма — в самóй структуре капиталистической мир-экономики, в кажущемся обособлении в капиталистической мир-системе экономической сферы (мировое общественное разделение труда с интегрированными производственными процессами, каж-

дый из которых имеет целью бесконечное накопление капитала) и политической сферы (состоящей якобы из отдельных суверенных государств, каждое из которых обладает независимой ответственностью за принятие решений в рамках своей юрисдикции и распоряжается вооруженными силами для поддержания своей власти). В реальном мире исторического капитализма почти все товарные цепи любой степени важности нарушали эти государственные границы, и так было с самого начала существования исторического капитализма. Более того, транснациональность товарных цепей так же верна для капиталистического мира XVI в., как и XX в.

Как функционировал этот неравный обмен? Исходной точкой движения того или иного товара был спрос на рынке, либо обусловленный (врéменным) существованием «узких мест» в сложном производственном процессе, либо созданный *manu militari* искусственной нехваткой. Далее товары перемещались между зонами следующим образом: зона, обладавшая «редким» товаром, «продавала» свои товары другой зоне по цене, которая воплощала больше реальных вложений (стоимости), чем товар по той же цене, двигающийся в противоположном направлении. Реально происходил перевод части полученной общей прибыли (или продукта) из одной области в другую. Это отношение ядровости — периферийности. В связи с этим зону, теряющую прибыль, мы можем назвать «периферией», а приобретающую — «ядром» (*core*). Эти названия фактически отражают географическую структуру экономических потоков.

Сразу же обнаруживаются несколько механизмов, исторически усиливавших это неравенство. Когда бы ни происходила «вертикальная интеграция» любых двух связей в товарной цепи, имелась возможность переместить ещё бóльший сегмент общего мирового продукта в ядро, чем это было возможно прежде. К тому же перемещение продукта в ядро концентрировало там капитал и создавало непропорционально большие фонды для дальнейшей механизации. Это обеспечивало производителей в зонах ядра дополнительными преимуществами в производстве уже существующих продуктов и позволяло им создавать всё больше новых редких продуктов, с помощью которых они возобновляли весь этот процесс.

Концентрация капитала в зонах ядра создавала как фискальную базу, так и политическую мотивацию для развития относительно сильных государственных машин. Среди многих возможностей этих машин были и такие, которые обеспечивали дальнейшее ослабление государственных машин периферийных зон. В результате можно было оказывать давление на периферийные государства. Цель давления — заставить эти государства согласиться на бóльшую специализацию подконтрольных им территорий на таких видах экономической деятельности, которые находятся в самом низу иерархии товарных цепей и даже содействовать такой специализации. Последняя

«подталкивается» использованием низкооплачиваемой рабочей силы и созданием (усилением) соответствующих структур домашних хозяйств, которые обеспечивают физическое существование рабочей силы. Таким образом, исторический капитализм фактически создал так называемые исторические уровни заработной платы, которые стали весьма сильно различаться в разных зонах мир-системы.

Когда говорят, что этот процесс носит скрытый характер, то имеют в виду следующее: реальные цены, как представляется, всегда определялись на мировом рынке на основе действия безличных экономических сил. Чтобы обеспечить неравный обмен при каждой отдельной сделке, не было нужды прибегать к помощи огромного аппарата скрытой силы (открыто использовавшейся время от времени в войнах и при колонизации). Как правило, аппарат насилия вступал в игру только тогда, когда существующему уровню неравного обмена бросали серьёзный вызов. Как только острый политический конфликт оставался позади, мировые предпринимательские классы могли делать вид, что экономика функционирует в соответствии с логикой предложения и спроса и только с ней. Они никогда не хотели признать тот факт, что мир-экономика пришла к конкретной точке соотношения предложения и спроса определённым историческим образом и что в каждый конкретный момент «обычные» различия в уровнях заработной платы и в реальном качестве жизни мировой рабочей силы поддерживаются определёнными силовыми структурами.

Теперь вернёмся к вопросу, почему вообще происходила какая-то пролетаризация. Вспомним фундаментальное противоречие между индивидуальным интересом каждого предпринимателя и коллективным интересом всех капиталистических классов. Неравный обмен по определению обслуживал эти коллективные интересы, а не множество отдельных индивидуальных интересов. Следовательно, те, чьи интересы не обслуживались непосредственно в данный конкретный отрезок времени (потому что их выигрыш был меньше, чем у конкурентов), постоянно пытались изменить ситуацию в свою пользу. То есть они пытались более успешно конкурировать на рынке либо увеличивая эффективность своего производства, либо используя политическое влияние, чтобы создать для себя новые монопольные преимущества.

Острая конкуренция среди капиталистов всегда была одной из *differentia specifica* исторического капитализма. Даже когда казалось, что она сознательно ограничивается (соглашениями типа картелей), эти ограничения в основном принимались постольку, поскольку каждый конкурент считал, что они увеличат его собственную прибыль. В системе, основанной на бесконечном накоплении капитала, никто из участников не мог позволить себе отказаться от постоянного стремления к долгосрочной прибыльности, поскольку это грозило самоуничтожением.

Таким образом, в историческом капитализме монополистическая практика и конкурентная мотивация выступают в тандеме. В таких обстоятельствах очевидно, что никакая специфическая форма связи между производственными процессами не могла быть стабильной. Совсем наоборот: в интересах большого числа конкурирующих предпринимателей всегда было попытаться изменить действующую конкретную временно-пространственную форму (*pattern*), не проявляя даже краткосрочной заботы о результатах воздействия такого поведения на мир. «Невидимая рука» Адама Смита, несомненно, действовала в том смысле, что «рынок» налагал ограничения на поведение индивидов, однако заключение о том, что это вело к гармонии, было бы весьма сомнительным прочтением реальности исторического капитализма.

Скорее, результатом были — это эмпирическое наблюдение — циклы чередующихся фаз роста и стагнации в системе в целом. Эти циклы включали столь серьёзные и регулярные колебания, что в их имманентный функционированию системы характер трудно не поверить. Можно провести следующую аналогию: эти циклы суть дыхательный механизм капиталистического организма, вдыхающего очищающий кислород и выдыхающего ядовитые отходы. Аналогии всегда опасны, но эта кажется весьма уместной. Накапливаемые отходы — это экономически неэффективные виды деятельности, которые время от времени приобретали жёсткую политическую форму в результате функционирования всё того же механизма неравного обмена. Очищающий кислород — более эффективное распределение ресурсов (более эффективное с точки зрения перспектив дальнейшего накопления капитала), которое было возможно благодаря регулярной реструктуризации товарных цепей.

Примерно каждые пятьдесят лет происходило следующее. В результате попыток всё большего и большего числа предпринимателей захватить наиболее прибыльные узлы товарных цепей возникали некие диспропорции вложений, которые мы, отчасти вводя себя в заблуждение, называем перепроизводством. Единственным средством устранить эти диспропорции было встряхивание (*shakedown*) системы производства, влекущее за собой более равномерное распределение. Перед нами логичный и простой процесс. Однако он имеет серьёзные непредвиденные последствия. Каждый раз после встряски экономические операции концентрировались в тех узлах товарных цепей, которые ранее были наиболее «засорены». Это предполагало устранение с рынка части предпринимателей и части рабочих (либо тех, кто работал на предпринимателей, вышедших из бизнеса, либо тех, кого лишила занятости механизация, проведённая предпринимателями с целью снижения издержек на единицу продукции). Такой сдвиг позволял предпринимателям понизить место той или иной операции в иерархии товарных цепей. Это, в

свою очередь, давало возможность переключить инвестиционные фонды и усилия на те звенья товарных цепей, которые носили инновационный характер и, поскольку исходно предлагали более редкие материалы, были более прибыльными. «Понижение места» (*«demotion»*) тех или иных процессов в иерархии нередко вело к их частичному географическому перемещению (relocation) в зоны с более низкими издержками на рабочую силу; правда, если смотреть на ситуацию с точки зрения зоны, в которую перемещалась экономическая деятельность, это изменение обычно предполагало повышение уровня заработной платы для некоторой части местной рабочей силы. Сейчас мы живем именно в такое время грандиозного всемирного перемещения мировой автомобильной, стальной и электронной промышленности. В целом феномен перемещения производственной деятельности является плотью и кровью исторического капитализма с самого начала его существования.

Циклические изменения и перемещения имели три крупных следствия. Во-первых, это постоянная географическая реструктуризация капиталистической мир-системы. Тем не менее, хотя товарные цепи претерпевают значительную реструктуризацию примерно каждые пятьдесят лет, система иерархически организованных товарных цепей сохраняется. Одни производственные процессы занимали более низкое место в иерархии, другие перемещались наверх. Отдельные географические зоны принимали то одни, то другие процессы, которые постоянно меняли свое место в иерархии. Таким образом, те или иные продукты имели свой жизненный «цикл»: стартуя как продукты ядра, со временем они становились таковыми периферии. Кроме того, локусы производства различных продуктов перемещались вверх-вниз и с точки зрения относительного благосостояния их населения. Однако чтобы назвать такие перемещения «развитием», сначала необходимо продемонстрировать снижение глобальной поляризации в системе. Эмпирический анализ показывает: признаков, что подобное происходило, просто нет; напротив, со временем поляризация усиливалась. В таком случае можно сказать, что эти географические и производственные перемещения действительно носили циклический характер.

Однако было ещё одно, — второе, совершенно иное следствие перемещений экономических дислокаций (*reshufflings*). Вводящее в заблуждение слово «перепроизводство», которым мы пользуемся, указывает на следующее: непосредственная проблема производителя — что делать? — всегда обусловливалась недостаточностью общемирового эффективного спроса на некоторые ключевые продукты системы. Именно в такой ситуации интересы рабочей силы совпадали с интересами меньшинства предпринимателей. Рабочие (*work-forces*) всегда стремились увеличить свою долю прибыли, и моменты нарушения экономического функционирования системы часто обеспечива-

ли им и дополнительный немедленный стимул, и некоторую дополнительную возможность для реализации их классовых интересов. Прямым и одним из наиболее эффективных путей для увеличения рабочей силой своего реального дохода была дальнейшая товаризация её собственного труда. Рабочие часто стремились заменить наёмным трудом те производственные процессы, которые обеспечивались домашними хозяйствами и приносили низкий реальный доход, особенно различные виды мелкого товарного производства. Одной из главных сил, стоявших за пролетаризацией, была сама мировая рабочая сила. Её представители лучше, чем самозваные выразители её интересов из среды интеллектуалов, понимали, насколько большей эксплуатации подвергаются полупролетарские домашние хозяйства по сравнению с полностью пролетаризованными.

Именно в моменты стагнации мир-экономики некоторые собственники-производители, отчасти уступая политическому давлению рабочих, отчасти считая, что с помощью структурных изменений в производственных отношениях они выиграют в конкуренции с другими собственниками-производителями, объединяют свои усилия в сферах производства и политики, чтобы способствовать дальнейшей пролетаризации ограниченной части рабочей силы. Именно этот процесс даёт нам главный ключ к ответу на вопрос, почему вообще шла какая-то пролетаризация, если в долгосрочной перспективе она вела к снижению уровней прибыли в капиталистической мир-экономике.

Именно в таком контексте следует рассматривать процесс технических изменений, который был скорее следствием исторического капитализма, чем его двигателем. Каждое крупное техническое «нововведение» означало, во-первых, высокоприбыльное само по себе создание новых «редких» продуктов, а во-вторых — изобретение трудосберегающих процессов (*labour-reducing processes*). Это были реакции на спады в циклах, способы присвоения «изобретений», позволяющие развивать далее процесс накопления капитала. Указанные нововведения, несомненно, часто наносили ущерб существующей организации производства. Исторически они способствовали централизации многих трудовых процессов (фабрика, сборочный конвейер). Однако масштаб изменений легко преувеличить. Процессы концентрации задач материального производства часто исследовались без учёта противодействующих им процессов децентрализации.

Это особенно верно с учётом третьего следствия циклических сдвигов. Надо иметь в виду, что, имея два вышеназванных следствия, мы должны объяснить один кажущийся парадокс. С одной стороны, мы говорили о продолжающейся концентрации накопления капитала в исторической поляризации распределения. Однако, с другой стороны, мы говорили и о медленном, но равномерном процессе пролетаризации, который, как было показа-

но, фактически снижал уровень прибыли. Сходу напрашивается простое объяснение: первый процесс просто масштабнее второго и опережает его. Это верно, однако снижение уровней прибыли, вызванное растущей пролетаризацией, до сих пор более чем компенсировалось механизмом, действовавшим в противоположном направлении.

Другое простое эмпирическое наблюдение относительно исторического капитализма заключается в том, что со временем зона его деятельности географически постоянно росла. И здесь в качестве наилучшего объяснения предлагается скорость процесса. Включение новых зон в общественное разделение труда при историческом капитализме происходило не разом. Фактически оно шло периодическими рывками, хотя каждое последующее расширение казалось ограниченным по своему масштабу. Несомненно, отчасти объяснение заключается в самóм техническом развитии исторического капитализма. Совершенствование транспорта, средств связи и вооружений постоянно удешевляло включение регионов, расположенных далеко от зон ядра. Однако такой аргумент в лучшем случае даёт нам необходимое, но не достаточное объяснение причин этого процесса.

Иногда утверждают, что объяснение заключается в постоянном поиске новых рынков, на которых можно реализовать прибыли капиталистического производства. Однако такое объяснение просто не соответствует историческим фактам. Внешние по отношению к историческому капитализму зоны в целом неохотно приобретали его продукты. Отчасти потому, что они не «нуждались» в них, поскольку собственная экономическая система вполне удовлетворяла их потребности, отчасти из-за того, что нередко им не хватало необходимых средств для покупки «капиталистических продуктов». Разумеется, были исключения. Однако в целом именно капиталистический мир стремился приобретать продукты внешнего мира, а не наоборот. Всякий раз, когда завоевывались определённые территории, капиталистические предприниматели регулярно жаловались на отсутствие там настоящих рынков и действовали через колониальные правительства с целью «создания вкусов».

Поиск рынков не объясняет интересующую нас проблему. Гораздо более вероятное объяснение — поиск низкооплачиваемой рабочей силы. Это тот исторический случай, когда по сути в каждой новой зоне, включённой в мир-экономику, устанавливались наиболее низкие в мир-системе уровни вознаграждения (заработной платы). Там фактически не было полностью пролетаризированных домашних хозяйств, а их развитие вовсе не поощрялось. Напротив, политика колониальных государств (и подвергшихся структурным изменениям полуколониальных государств в тех зонах, которые были включены в капиталистическую мир-экономику, но формально не стали колониями), казалось, была направлена именно на то, чтобы способствовать возникновению тех самых полупролетарских домашних хозяйств, кото-

рые, как мы видели, обеспечивали самый низкий порог приемлемой заработной платы. Типичная государственная политика включала сочетание налоговых механизмов, принуждавших каждое домашнее хозяйство заниматься тем или иным видом наёмного труда. Это сопровождалось ограничениями на передвижение или насильственным разделением членов домашнего хозяйства, что существенно уменьшало возможность полной пролетаризации.

Если к данному анализу добавить тот факт, что включения новых зон в мир-систему капитализма как правило совпадали с фазами стагнации в мир-экономике, то становится ясно: географическое расширение мир-системы служило противовесом снижающему прибыль процессу нарастающей пролетаризации путём включения новой рабочей силы, обречённой на полупролетаризацию. Кажущийся парадокс исчез. Воздействие пролетаризации на процесс поляризации компенсировалось, и возможно, более чем компенсировалось (по крайней мере до сих пор) результатами включения новых зон. Что касается трудовых процессов фабричного типа, то их рост в качестве процента от целого был меньше, чем это обычно считают, особенно если учесть постоянно увеличивающийся знаменатель дроби.

Мы потратили немало времени на описание того, как функционировал исторический капитализм в экономической сфере в узком смысле слова. Теперь мы готовы объяснить, почему капитализм возник как историческая социальная система. Это не так просто, как часто думают. Вовсе не являясь «естественной» системой, как это пытались доказать его некоторые апологеты, исторический капитализм внешне явно абсурден. Человек накапливает капитал с целью накопления ещё большего капитала. Капиталисты, подобно белым мышам на движущейся дорожке, должны бежать всё быстрее, чтобы бежать ещё быстрее. При историческом капитализме, некоторые люди, несомненно, живут хорошо, однако другие живут плохо. Ну а насколько хорошо и как долго хорошо живут те, кто живёт хорошо?

Чем больше я размышлял над этим вопросом, тем абсурднее он мне казался. Я считаю, что огромное большинство населения мира объективно и субъективно материально живёт хуже, чем при предыдущих исторических системах. Более того, как мы увидим, и политически это большинство живёт хуже. Все мы настолько пропитаны самооправдывающей идеологией прогресса, которую сформировала эта историческая система, что нам трудно хотя бы признать наличие многочисленных отрицательных черт у этой системы. Даже такой решительный обвинитель и ниспровергатель исторического капитализма, как Карл Маркс, особо подчеркивал его исторически прогрессивную роль. Я совершенно не верю в подобную роль, разумеется, если только под «прогрессивным» понимать не просто то, что исторически является более поздним и истоки чего можно объяснить чем-то, предшествовавшим ему. Балансовый отчёт исторического капитализма, к которому я

вернусь, возможно, сложен, однако, по моему мнению, предварительные расчёты материального распределения товаров и энергии весьма неблагоприятны для капитализма.

Если это так, то почему возникла такая система? Возможно, именно чтобы достичь этой цели. Можно ли представить более убедительную логику аргументации, чем та, согласно которой система возникла для того, чтобы достичь той цели, которой она достигла? Я знаю, что современная наука отказалась от поисков конечных причин и от связанных с ними размышлений об интенциональности, т.е. о намерениях субъекта (*actor*) достичь определённых целей, как об объяснении, почему нечто происходит так, а не иначе (в немалой степени потому, что всё это очень трудно продемонстрировать эмпирически). Однако мы прекрасно знаем, что современная наука и исторический капитализм всегда были союзниками, а потому нам понятен решающий авторитет науки в вопросе о возможности познания и анализа происхождения современного капитализма. Поэтому я лишь в общих чертах обрисую своё историческое объяснение происхождения исторического капитализма, не пытаясь развивать здесь эмпирическую базу данной аргументации.

Если сравнивать Европу XIV–XV вв. как локальный комплекс общественного разделения труда с другими зонами мира по уровню развития производительных сил, политической и культурной связности-интегрированности её исторической системы и состояния человеческого знания, то она оказывается эдаким середняком — не более развитым, чем одни зоны и не более примитивным, чем другие. Следует помнить, что Марко Поло — выходец из одного из самых культурно и экономически «развитых» субрегионов Европы, был совершенно ошеломлён тем, с чем столкнулся во время своих азиатских путешествий.

Экономическая сфера феодальной Европы переживала в то время глубочайший внутренний кризис, потрясший её социальные основы. Её правящие классы с огромной скоростью уничтожали друг друга. Её земельная система (основа её экономической структуры) расшатывалась и благодаря значительной реорганизации развивалась в направлении гораздо более уравнительного распределения, чем то, которое было нормой прежде. Более того, мелкие крестьянские хозяйства демонстрировали значительную эффективность производства. Политические структуры в целом становились слабее. Они были заняты междоусобной борьбой политически сильных мира сего, и это означало, что для подавления растущей силы масс им просто не хватало времени. Идеологические скрепы католицизма испытывали огромное напряжение. В самом лоне церкви рождались эгалитаристские движения. Социальная ткань распадалась. Если бы эти тенденции развития сохранились, то трудно поверить, что средневековая феодальная Европа с её чёткой системой

сословий смогла бы вернуть свою силу. Гораздо более вероятно, что европейская феодальная социальная структура стала бы развиваться по пути превращения в систему относительно равных мелких производителей, которая ещё активнее давила бы аристократию и способствовала децентрализации политических структур.

Вопрос о том, хорошо это или плохо и для кого, носит умозрительный характер и не представляет интереса. Однако ясно, что такая перспектива должна была привести в ужас верхние слои Европы, — ужаснуть и напугать, особенно потому, что они чувствовали, как разрушается их идеологическая броня. Я полагаю, что осознанно никто такие опасения не высказывал. Однако сравнение Европы 1650 г. с Европой 1450 г., показывает, что к 1650 г. базовые структуры исторического капитализма как жизнеспособной социальной системы установились и укрепились. Тенденция к эгалитаризации вознаграждения была пресечена и решительно развёрнута в противоположном направлении. Верхние слои вновь обеспечили себе прочный политический и идеологический контроль. Существовал довольно высокий уровень преемственности между семьями, составлявшими верхние слои соответственно в 1450 г. и 1650 г. Более того, если заменить 1650 г. на 1900 г., обнаружится, что большинство сравнений с 1450 г. продолжало работать и тогда. Только в XX в. появилось несколько важных трендов противоположной направленности. Как мы увидим, это был знак того, что историческая система капитализма после четырёх или пяти сотен лет процветания наконец подошла к структурному кризису.

Возможно, никто не высказывал такой точки зрения, но со всей определённостью возникает следующее впечатление: создание исторического капитализма как социальной системы резко повернуло вспять тенденцию, которой страшились верхние слои феодального общества и которую они заменили той, что намного лучше служила их интересам. Так ли это абсурдно? Лишь для тех, кто стал жертвами этого процесса.

ГЛАВА II Политика накопления: борьба за преимущества

Бесконечное накопление капитала ради накопления *prima facie* может показаться социально абсурдной целью. Тем не менее у этого процесса были защитники, обычно оправдывавшие его долгосрочными социальными выгодами (*benefits*), под которыми подразумевались результаты накопления. Позже мы рассмотрим вопрос о том, насколько это соответствует действительности. Однако даже не говоря о каких-либо коллективных выгодах, ясно, что накопление капитала предоставляет возможность и базу для значительного увеличения потребления многих индивидов (и/или небольших групп). Действительно ли рост потребления улучшает качество жизни потребителей — это другой вопрос, который мы пока также отложим.

Наш первый вопрос таков: кто оказывается в немедленном, краткосрочном выигрыше (*benefits*)? Можно вполне резонно утверждать: для того, чтобы решить, стоит ли бороться за краткосрочную индивидуальную выгоду, большинство людей не станут дожидаться, пока будут даны оценки и проведены расчёты долгосрочной выгоды или качества жизни (коллектива или индивидов), обусловленного таким потреблением. Именно это по сути и имеется в виду, когда говорят, что исторический капитализм является материалистической цивилизацией.

В историческим капитализме огромным было не только материальное вознаграждение тех, кто вырвался вперед, огромной была и разница в материальном вознаграждении между верхом и низом, которая со временем постоянно увеличивалась в мир-системе, взятой как целое. Мы уже говорили об экономических процессах, обусловивших эту поляризацию в распределении вознаграждения. Теперь посмотрим на то, как в данной экономической системе люди маневрировали, чтобы обеспечить себе выгоду, а значит, отсечь от неё всех остальных. Мы также должны рассмотреть, как маневрировали жертвы несправедливого распределения, чтобы, во-первых, свести к минимуму свои потери при функционировании системы, а во-вторых, трансформировать систему, ответственную за столь явную несправедливость.

Как при историческом капитализме люди, группы людей вели политическую борьбу? Политика представляет собой изменение властных отноше-

ний в обществе в более благоприятном для чьих-то интересов направлении, т.е. изменение направления социальных процессов. Успешное осуществление политики требует нахождения таких рычагов изменений, которые обеспечивают наибольшие преимущества при наименьших затратах. Исторический капитализм организован так, что самыми эффективными рычагами политического регулирования являются государственные структуры, чьё создание, как мы видели, само по себе было одним из центральных институциональных достижений исторического капитализма. Таким образом, не случайно на протяжении всей истории современного капитализма контроль над государственной властью или, если необходимо, её завоевание были центральной стратегической целью всех основных агентов на политической арене.

Когда начинаешь детально исследовать реальное функционирование системы, то решающее значение государственной власти для экономических процессов — даже если определить его очень узко — представляется поразительным. Первым и самым простым элементом государственной власти была территориальная юрисдикция. Государства имели юридически определённые границы. Границы определялись на основе закона данной страны, с одной стороны, и путем дипломатического признания со стороны иных государств, с другой. Конечно, границы можно было оспаривать, что и делалось регулярно, — т.е. вступали в конфликт юридические признания по двум линиям (само государство и другие государства). Такие трудности в конечном счёте разрешались судом или силой (с последующим молчаливым соглашением). Многие споры протекали в скрытой форме в течение весьма длительного времени, хотя лишь немногие из них тянулись дольше, чем жизнь одного поколения. Решающим было само наличие идеологического убеждения в том, что подобные споры могут быть разрешены и в конечном счёте будут разрешены. Что было концептуально недопустимо в современной государственной системе, так это недвусмысленное признание постоянных частично перекрывающих друг друга юрисдикций. Суверенитет как концепция был основан на аристотелевском законе исключённого среднего.

Эта философско-юридическая доктрина позволила установить ответственность за контроль над движением через границы — в те или иные государства и из них. Каждое государство имело формальную юрисдикцию над своими собственными границами, над движением через свои границы товаров, денежного капитала и рабочей силы. Поэтому каждое государство могло в какой-то степени воздействовать на средства и способы, с помощью которых функционировали общественное разделение труда и капиталистическая мир-экономика. Более того, каждое государство могло постоянно модифицировать эти механизмы просто путём изменения правил, регулирующих поток факторов производства через его собственные границы.

Обычно мы рассматриваем такой пограничный контроль с точки зрения антиномии «полное отсутствие контроля (свободная торговля) — полное отсутствие свободного передвижения (автаркия)». Фактически же на практике для большинства стран и времен государственная политика осуществлялась в «пространстве» между двумя этими крайностями. Более того, политика имела значительные специфические различия в зависимости от того, шла ли речь о передвижении товаров, денежного капитала или рабочей силы. В целом, перемещение рабочей силы подвергалось бóльшим ограничениям, чем движение товаров и денежного капитала.

С точки зрения конкретного производителя, занимающего своё место в одном из звеньев товарной цепи, свобода передвижения была желательной, пока этот производитель экономически конкурировал на мировом рынке с другими производителями тех же товаров. Однако когда дело обстояло иначе, различные пограничные ограничения на пути производителей-конкурентов могли повысить издержки последних и принести пользу менее эффективному производителю. Поскольку по определению на рынке с многочисленными производителями любого определённого продукта большинство менее эффективно, чем меньшинство, существовало постоянное давление с целью создать меркантилистские ограничения свободного передвижения через границы. Однако ввиду того, что более эффективное меньшинство было относительно богатым и сильным, имело место и постоянное контрдавление с целью открыть границы или, более конкретно, некоторые границы. Поэтому великая борьба — жестокая и продолжительная — велась прежде всего по поводу пограничной политики государства. Более того, поскольку любая определённая группа производителей, особенно крупных и могущественных, оказывалась под прямым воздействием государственной пограничной политики не только государств, где физически находилась их экономическая база (при этом производители могли и не быть гражданами этих государств), но также многих других государств, то указанные производители товаров имели политические интересы в нескольких, а часто во многих государствах. Сама мысль о том, что политическая вовлечённость должна ограничиваться собственным государством, была глубоко противоположна целям, интересам, настроениям тех, кто осуществлял накопление капитала ради накопления.

Одним из средств воздействия на правила, регулирующие, что может, а что не может пересекать границу, если да, то на каких условиях, было, конечно, изменение фактических границ — путем полного поглощения одним государством другого (объединение, *Anschluss*, колонизация), путём захвата какой-либо территории, отделения или деколонизации. Тот факт, что изменение границ непосредственно влияет на модели (*patterns*) общественного разделения труда в мир-экономике, занимал центральное место в аргумен-

тации всех, кто выступал за или против определённых изменений границ. Факт, что идеологические мобилизации по поводу определения наций могли сделать более или менее возможным изменение границ, обеспечил непосредственное экономическое содержание националистических движений — в той степени, в какой их участники считали возможной политику государства, направленную на обеспечение планируемого изменения границ.

Вторым элементом государственной власти, имеющим фундаментальное значение для функционирования исторического капитализма, было законное право государств определять правила общественных производственных отношений, находящихся в рамках их территориальной юрисдикции. Современные государственные структуры присвоили это право отменять или изменять любой обычный комплекс отношений. Считая это право относящимся к сфере закона, государства не признавали никаких других ограничений сферы их законодательства, кроме наложенных ими же. Даже в конституциях тех государств, которые формально признавали ограничения, обусловленные религиозными доктринами или доктринами естественного права, право интерпретировать эти доктрины обязательно резервировалось за определённым конституцией органом или лицом.

Право законодательно устанавливать способы контроля над рабочей силой ни при каких обстоятельствах не было просто теоретическим. Государства регулярно использовали это право, часто радикально меняя существующие формы. При историческом капитализме государства законодательно способствовали товаризации рабочей силы путём отмены различных связанных с обычаем ограничений перемещения рабочих из одной сферы занятости в другую. Кроме того, с помощью фискальных денежных обязательств они заставляли людей становиться наёмными работниками. В то же время часто государства законодательным путём препятствовали развитию полномасштабной пролетаризации, налагая ограничения, связанные с местом проживания или настаивая на том, чтобы группа родственников продолжала выполнять различные виды социального обеспечения по отношению к своим членам.

Государства контролировали производственные отношения. Сначала они легализовывали, а позднее запрещали отдельные формы принудительного труда (рабство, принудительные общественные работы, контракт и т.д.). Они создавали правила регулирования контрактов наёмного труда, включая гарантии контракта и минимальные и максимальные взаимные обязательства. Они законодательно определяли рамки географической мобильности рабочей силы — не только внутри государственных границ, но и в их пределах.

Все эти государственные решения принимались с учётом непосредственных экономических последствий для накопления капитала. Это можно легко подтвердить, обратившись к огромному количеству зафиксированных

споров об альтернативном законодательном или административном выборе, регистрировавшихся по мере возникновения. Более того, государства регулярно тратили немало сил на принуждение непокорных групп (чаще всего — непокорной рабочей силы) к выполнению этих правил. Рабочим редко позволялось игнорировать юридические ограничения их деятельности. Напротив, государственная машина была всегда готова обрушить репрессии на рабочее восстание, индивидуальное или коллективное, пассивное или активное. Конечно, со временем организованные движения рабочего класса обрели возможность как-то ограничивать репрессивные действия, а также добиваться изменения регулирующих правил в свою пользу, однако такие движения достигали подобных результатов главным образом своей способностью воздействовать на политическую структуру государственной машины.

Третьим элементом власти государств является власть облагать население налогами. Налогообложение вовсе не было изобретением исторического капитализма; предыдущие политические структуры тоже использовали налогообложение как источник дохода для государственной машины. Однако исторический капитализм трансформировал налогообложение в двух направлениях. Во-первых, налогообложение стало главным (по сути всеохватывающим) регулярным источником государственного дохода — в противоположность государственному доходу, источник которого — нерегулярные реквизиции силой у лиц внутри или вне формальной юрисдикции государства, включая реквизиции у других государств. Во-вторых, налогообложение в историческом развитии капиталистической мир-экономики постоянно увеличивалось и как процент от общей стоимости — созданной или накопленной. Это означало, что государство важно как контролёр определённых ресурсов, поскольку ресурсы не только позволяли государству содействовать накоплению капитала, но и распределялись им и таким образом прямо или косвенно включались в дальнейшее накопление капитала.

Налогообложение было властью, фокусировавшей враждебность и сопротивление на самой государственной структуре, которую рассматривали как злодея, утратившего вещественную оболочку и присваивающего плоды чужого труда. Следует подчеркнуть, что вне правительства всегда существовали группы интересов, подталкивавшие к определённым видам налогообложения, так как налогообложение либо вело к прямому перераспределению в их пользу, либо позволяло правительству внешнеэкономические действия, которые улучшали экономическое положение этих групп или ухудшали положение их конкурентов. Короче говоря, власть облагать налогами была одним из наиболее действенных способов, с помощью которых государство непосредственно содействовало процессу накопления капитала определёнными группами.

Перераспределительные возможности государства рассматривались главным образом с точки зрения их уравнительного потенциала (*equalization potential*). Это — тема государства всеобщего благосостояния (*welfare state*). Однако на самом деле перераспределение использовалось гораздо шире — в значительно большей мере как механизм поляризации распределения, чем сглаживания разницы в реальных доходах. Существовали три основных механизма, усиливавшие поляризацию вознаграждений *над и сверх* поляризации, которая уже возникла в результате функционирования капиталистического рынка.

Во-первых, правительства имели возможность с помощью процесса налогообложения накопить крупные суммы капитала, которые они перераспределяли в пользу лиц или групп (уже крупных держателей капитала) через официальные субсидии. Эти субсидии принимали форму прямых дотаций (*outright grants*), обычно плохо завуалированных под общественные нужды (главным образом это были сверхплаты за услуги, например коммунальные). Субсидии принимали и косвенные формы — например, принятие государством на себя расходов на развитие производства, которые, как предполагалось, могли со временем быть амортизированы выгодной продажей. На самом деле цель заключалась в том, чтобы обеспечить экономическую активность неправительственных предпринимателей по номинальной цене именно в момент завершения той фазы развития, которая требовала наибольших затрат.

Во-вторых, правительства были способны накапливать значительные суммы капитала, используя формально легальные и часто узаконенные каналы налогообложения, которые затем становились лёгкой добычей широкомасштабного незаконного, но *de facto* беспрепятственного сокрытия государственных фондов. Такое разворовывание государственных доходов и соответствующее ему коррупционное частное налогообложение были главными источниками частного накопления капитала для развития исторического капитализма.

В-третьих, правительства перераспределяли средства в пользу богатых, применяя принцип, согласно которому прибыль индивидуализировалась, а риск обобществлялся. На протяжении всей истории капиталистической системы действовала закономерность: чем больше был риск (и убытки), тем более вероятным было вмешательство правительства для предотвращения банкротств и даже для возмещения убытков, хотя бы для того, чтобы избежать финансовых потрясений.

Указанная практика антиэгалитарного перераспределения была конечно же постыдной стороной государственной власти, — правительства в определённой степени чувствовали себя неловко из-за этой деятельности и стремились скрыть её. В то же время меры правительств, направленные на обеспе-

чение дополнительного общественного капитала выставлялись напоказ и защищались как необходимая роль государства в сохранении исторического капитализма.

Решающие для снижения издержек многочисленных групп собственников-производителей расходы — т.е. базовая энергетическая, транспортная и информационная инфраструктура мир-экономики — в основном развивались и поддерживались за счёт государственных фондов. Несомненно, большинство людей получали *какую-то* пользу от такого дополнительного общественного капитала, однако её социальное распределение было далеко не равным. Благодаря относительно эгалитарной системе налогообложения непропорционально высокие преимущества получали те, кто уже и так обладал крупным капиталом. Поэтому вся конструкция дополнительного общественного капитала служила дальнейшему накоплению капитала и его концентрации.

Наконец, государства монополизировали или пытались монополизировать вооруженные силы. Главной задачей полиции было поддержание внутреннего порядка (т.е. обеспечение принятия рабочей силой предписанных ей роли и вознаграждения); армия выступала как механизм, с помощью которого производители одного государства могли справляться с проблемами, создаваемыми конкурентами из других государств, за которыми стояли их вооружённые силы. Это подводит нас к ещё одной важной черте государственной власти: виды власти, осуществляемой каждым государством, были сходными, а вот мощь, которой обладали данные государственные машины, была весьма различной. Государства занимали в иерархии эффективной власти своё место, которое определяется не численностью и сплочённостью (*coherence*) их бюрократий и армий, не их идеологическим самовосприятием, а их реальными способностями содействовать концентрации накопленного капитала в пределах своих границ в борьбе с государствами-соперниками. Речь идёт о реальных способностях сдерживать вооружённые силы противника, вводить в действие благоприятные правила внутри страны и препятствовать другим государствам делать то же самое, удерживать в повиновении собственную рабочую силу и подрывать способность соперников делать то же. Настоящей мерой силы государств является среднесрочный экономический результат. Открытое использование сил государственной машины для контроля над трудящимися внутри страны — дорогостоящий (*costly*) и дестабилизирующий метод, чаще это знак её слабости, а не силы. По-настоящему сильные государственные машины способны контролировать рабочую силу в своих странах с помощью более тонких и скрытых механизмов.

Таким образом, существует много способов, с помощью которых государство функционирует в качестве механизма максимального накопления капи-

тала. Согласно его идеологии капитализма, деятельность частных предпринимателей свободна от вмешательства государственной машины. Однако на практике такого нигде и никогда не было. Мог бы капитализм процветать без активной роли современного государства или нет — это досужие размышления. При историческом капитализме капиталисты полагались на свою способность использовать государственную машину в свою пользу и к своей выгоде различными способами, которые выше мы осветили в общих чертах.

Ещё одним идеологическим мифом был миф о государственном суверенитете. Современное государство никогда не было полностью автономной политической целостностью. Государства развивались и формировались как интегральные части межгосударственной системы. Последняя представляла собой набор правил, в рамках которых государствам приходилось действовать, и комплекс легитимаций, без которых государства не могли выжить. С точки зрения государственных механизмов любого государства межгосударственная система означала ограничение его воли. Эти ограничения проявлялись в дипломатической практике, в формальных правилах, регулирующих юрисдикции и соглашения (международное право), и в пределах, установленных по поводу того, как и в каких обстоятельствах может вестись война. Все эти ограничения противоречили официальной идеологии суверенитета. Тем не менее никогда реально не предполагалось, что суверенитет означает полную автономию. Эта концепция скорее была указанием на то, что существуют пределы законности вмешательства одной государственной машины в действия другой.

Правила межгосударственной системы, конечно, проводились в жизнь не согласием или консенсусом, а готовностью и способностью более сильных государств налагать ограничения, во-первых, на более слабые государства и, во-вторых, друг на друга. Следует помнить, что государства занимали свои места во властной иерархии. Само существование этой иерархии обеспечивало значительное ограничение автономии государств. Конечно, ситуация в целом могла измениться и привести к полному исчезновению власти государств и возникновению иерархии, на вершине которой — пирамидальный пик, а не плато. Эта возможность вовсе не была гипотетической, так как динамика концентрации военной власти вела к периодическим попыткам превратить межгосударственную систему в мир-империю.

Такие попытки в условиях исторического капитализма никогда не имели успеха, потому что структурная основа экономической системы и очевидные интересы главных накопителей капитала в корне противоречили трансформации мир-экономики в мир-империю.

Во-первых, накопление капитала было соревнованием с постоянным стимулом к участию, поэтому наиболее прибыльные виды производственной деятельности всегда были отчасти рассредоточены. Поэтому многие государ-

ства всегда стремились к обладанию такой экономической базой, которая делала их относительно сильными. Во-вторых, в любом государстве накопители капитала использовали свои собственные государственные структуры с целью облегчить накопление капитала, но они также нуждались в некотором рычаге контроля *против* своих собственных государственных структур. Ведь если бы их государственная машина стала слишком сильной, она могла бы, стремясь к внутреннему политическому равновесию, сама решать, реагировать ли на внутреннее эгалитарное давление и если да, то в какой степени. Такой угрозе накопители капитала должны были противопоставить свою угрозу переиграть свою же государственную машину с помощью союза с другими государственными машинами. Однако это было возможно лишь в том случае, если ни одно государство полностью не доминировало над всеми остальными.

Эти соображения сформировали объективную основу так называемого баланса сил, под которым мы подразумеваем ситуацию, когда многочисленные сильные и средней силы государства в межгосударственной системе постоянно стремятся к сохранению союзов (или, если требовалось, к их изменению), с тем чтобы ни одно отдельное государство не смогло успешно завоевать все остальные.

Баланс сил поддерживался чем-то бóльшим, чем политическая идеология, что можно увидеть, рассмотрев три примера, в которых одно из сильных государств временно достигало периода относительного господства над другими. Это относительное господство мы можем назвать гегемонией. Три примера — это гегемония Соединенных Провинций (Нидерландов) в середине XVII в., гегемония Великобритании в середине XIX в. и гегемония Соединённых Штатов в середине XX в.

В каждом случае гегемония возникала после поражения военного претендента на завоевание других (Габсбурги, Франция, Германия). Каждая гегемония утверждалась в «мировой войне» — тяжёлой, широкомасштабной, ведущейся главным образом на суше и приносящей большие разрушения тридцатилетней борьбе, в которой участвовали все главные военные державы эпохи. Это были соответственно Тридцатилетняя война (1618–1648), Наполеоновские войны (1792–1815) и конфликты XX в. между 1914 и 1945 гг., которые правильно было бы считать единой длинной «мировой войной». Необходимо отметить, что в каждом случае победителем оказывалась держава, которая до «мировой войны» была морской, но для победы в войне превращалась в сухопутную, чтобы победить исторически сильную сухопутную державу, пытавшуюся, казалось, превратить мир-экономику в мир-империю.

Основа победы была, однако, невоенной, экономической: способность накопителей капитала в определённых государствах выиграть в конкуренции со всеми другими во всех трёх главных экономических сферах — агроинду-

стриальном производстве, торговле и финансах. На короткие периоды времени накопители капитала в государстве-гегемоне оказывались более эффективными, чем их конкуренты в других сильных государствах, и таким образом захватывали рынки даже в «домашних» областях своих конкурентов. Каждая из этих гегемоний была краткой. Каждая приходила к концу в основном по экономическим, а не политико-военным причинам. В каждом случае временное тройное экономическое преимущество наталкивалось на две твёрдые скалы капиталистической реальности. Во-первых, факторы, работавшие на бóльшую экономическую эффективность, всегда могли быть скопированы другими — не теми, кто был действительно слаб, а середняками; те, кто вступает в любой экономический процесс позже других, как правило, обладает преимуществом — они не должны амортизировать прежний капитал.

Во-вторых, в интересах державы-гегемона было сохранение непрерывной экономической активности, и, следовательно, она, как правило, стремилась покупать мир между капиталом и трудом с помощью внутреннего перераспределения. Со временем это вело к снижению конкурентоспособности, в результате гегемония заканчивалась. К тому же превращение державы-гегемона в державу со значительной сухопутной и морской военной «ответственностью» чрезмерно увеличивало экономическое бремя, повышая таким образом прежний низкий уровень военных расходов этой державы.

Поэтому баланс сил, ограничивающий как слабые государства, так и сильные, не был политическим эпифеноменом, который можно легко уничтожить. Он коренился в тех самых способах, с помощью которых при историческом капитализме накапливался капитал. Баланс сил не был и просто отношением между государственными машинами, так как внутренние агенты в каждом данном государстве в своих действиях регулярно выходили за его пределы — непосредственно или заключая союз с агентами в других государствах. Следовательно, при оценке политики любого государства различение внутреннего и внешнего носит во многом формальный характер и не слишком помогает нам понять, как действительно проходила политическая борьба.

Но кто с кем в действительности боролся? Из-за противоречивых тенденций внутреннего развития исторического капитализма это не столь очевидный вопрос, как может показаться на первый взгляд. Самой элементарной борьбой и в каком-то отношении самой очевидной была борьба между небольшой группой лиц, получающих огромную выгоду от системы, и большой группой их жертв. Эта борьба проходит под разными названиями и масками. Когда между накопителями капитала и их рабочей силой в том или ином государстве можно было очень чётко провести разделительную линию, мы были склонны называть это классовой борьбой между капиталом и трудом.

Такая классовая борьба имела место в двух локусах — экономическом (как в конкретном месте работы, так и на более обширном, аморфном «рынке») и политическом. Ясно, что в экономической области существовал прямой, логически ясный сиюминутный конфликт интересов. Чем больше было вознаграждение рабочей силы, тем меньше продукта оставалось в качестве «прибыли». Конечно, этот конфликт часто смягчался более долгосрочными и крупномасштабными соображениями: отдельный накопитель капитала и его рабочая сила имели общие интересы, направленные против других пар «накопители — трудящиеся» во всей системе. И более крупное вознаграждение рабочей силы могло при определённых условиях вернуться к накопителям капитала как отсроченная прибыль путём увеличившейся глобальной денежной покупательной способности в мир-экономике. Тем не менее ни одно из этих соображений никогда не могло отменить тот факт, что распределение данного продукта было игрой с нулевой суммой, и, таким образом, напряжённость с необходимостью сохранялась. Следовательно, она находила выражение в конкуренции за политическую власть внутри различных государств.

Однако поскольку мы знаем, что процесс накопления капитала приводил к его концентрации в определённых географических зонах, что обеспечивающий это неравный обмен стал возможным благодаря межгосударственной иерархической системе и что государственные машины имеют какую-то пусть и ограниченную власть менять действие системы, постольку борьба между всемирными накопителями капитала и всемирной рабочей силой нашла значительное выражение также в попытках различных групп прийти к власти внутри данных (более слабых) государств с целью использования государственной власти против накопителей капитала из более сильных государств. Где бы это ни происходило, мы склонны именовать это антиимпериалистической борьбой. Несомненно, этот вопрос затеняется (*is obscured*) тем, что линии борьбы внутри государств, о которых идёт речь, не всегда полностью совпадали с направлением главного удара классовой борьбы в мир-экономике как целом. Некоторые накопители капитала в более слабом государстве и некоторые сегменты рабочей силы в более сильном выигрывали в краткосрочной перспективе, определяя политические события в чисто национальных, а не классово-национальных терминах. Однако мощные мобилизующие атаки и прорывы чисто «антиимпериалистических» движений никогда не были возможны, а следовательно, даже ограниченные цели редко достигались, если не присутствовало классовое содержание борьбы, если оно не использовалось — хотя бы имплицитно — в качестве идеологической темы.

Мы уже отмечали, что процесс формирования этнических групп был неразрывно связан с процессом формирования рабочей силы в тех или иных государствах, что он служил в качестве жёсткого свода правил, определяю-

щих место в экономических структурах. Протекал ли этот процесс в особо острой форме или же обстоятельства начинали оказывать жёсткое давление на непосредственное выживание, конфликт между накопителями капитала и наиболее угнетёнными сегментами рабочей силы чаще всего принимал форму лингвистическо-расово-культурной борьбы, так как подобные определения тесно связаны с классовой принадлежностью. Где бы и когда бы это ни происходило, мы были склонны называть это этнической или национальной борьбой. Однако, как и в случае с антиимпериалистической борьбой, эта борьба редко бывала успешной, если не могла мобилизовать чувства, которые прорастали из лежащей в её основе классовой борьбы за присвоение продукта, произведённого внутри капиталистической системы.

Тем не менее, если мы будем обращать внимание только на классовую борьбу (так как она и очевидна, и фундаментальна), то потеряем из вида другую форму политической борьбы, которая при историческом капитализме поглощает по меньшей мере столько же времени и энергии, что и классовая, ведь капиталистическая система по определению стравливает одних накопителей капитала с другими. Поскольку способ, с помощью которого осуществлялось бесконечное накопление капитала, заключался в реализации прибыли, получаемой от экономической деятельности, направленной против конкурентных усилий других, ни один индивидуальный предприниматель не мог быть чем-то большим, чем непостоянным союзником любого другого предпринимателя, — под страхом быть вообще устранённым со сцены конкуренции.

Предприниматель против предпринимателя, экономический сектор против экономического сектора, предприниматели или этническая группа одного государства против предпринимателей или этнических групп других государств — эта борьба по определению была непрерывной. И эта непрерывная борьба постоянно принимала политическую форму именно из-за центральной роли государств в накоплении капитала. Иногда эта борьба внутри государств велась за то, чтобы попасть в государственную машину, и за возможность проводить хотя бы краткосрочную государственную политику. Однако иногда она велась по поводу более крупных вопросов, таких как возможность определять правила, регулирующие краткосрочную борьбу и таким образом обеспечивающие преобладание той или иной группировки. Когда эта борьба становилась «конституционной» по своей природе, она требовала большей идеологической мобилизации. В этих случаях говорилось о «революциях» и «великих реформах», а побеждённым сторонам часто навешивались оскорбительные (но аналитически неверные) ярлыки. В той степени, в какой политическая борьба, например, за «демократию» или «свободу» против «феодализма» или «традиции» не была борьбой рабочего класса против капитализма, она по существу была борьбой между накопителями капи-

тала за накопление капитала. Такая борьба не являлась триумфом «прогрессивной» буржуазии над реакционными слоями, но была межбуржуазной (*intrabourgeois*).

Конечно, использование «универсализирующих» идеологических лозунгов о прогрессе было политически полезным. Это был способ привязать мобилизацию классовой борьбы к целям одной из сторон в борьбе между накопителями капитала. Однако подобное идеологическое преимущество часто оказывалось «обоюдоострым мечом», высвобождая страсти и ослабляя репрессивные ограничители классовой борьбы. Это было, конечно, одной из постоянных дилемм накопителей капитала при историческом капитализме. Функционирование системы принуждало их, с одной стороны, действовать на основе классовой солидарности друг с другом, выступая против попыток рабочей силы преследовать свои противоположные накопителям интересы, с другой — безостановочно сражаться друг с другом и на экономической и на политической аренах. Именно это мы подразумеваем под внутренним противоречием системы.

Многие аналитики, заметив, что кроме классовой есть другие виды борьбы, поглощающие бóльшую часть общей политической энергии, пришли к выводу, что для понимания политической борьбы классовый анализ представляет сомнительную ценность. Это странное заключение. Имело бы больше смысла заключить, что политическая борьба, которая развивается не на классовой основе, т.е. борьба за политические преимущества между самими накопителями является свидетельством серьёзной структурной политической слабости класса накопителей в его продолжающейся мировой классовой борьбе.

Политическую борьбу этого типа можно охарактеризовать как борьбу за формирование институциональных структур капиталистической мир-экономики с целью создания такого мирового рынка, действие которого автоматически приносило бы пользу определённым экономическим агентам. Капиталистический «рынок» никогда не был данностью и в ещё меньшей степени константой. Это было нечто постоянно пересоздаваемое, перенастраиваемое и приспосабливаемое.

В любой данный отрезок времени «рынок» представлял собой набор правил или ограничений, являвшихся результатом сложного взаимодействия четырех главных комплексов (*sets*) институтов:

• многочисленных государств, объединённых в межгосударственную систему;

• многочисленных «наций», которые были либо полностью признаны, либо боролись за такое общественное признание (включая субнации, «этнические группы») и которые находились в непростых и неопределённых отношениях с государствами;

• классов с возникающими профессиональными контурами и колеблющейся степенью классового сознания;

• экономические единицы с общим доходом (*the income-pooling units*) и общим хозяйством — в них многочисленные лица заняты разнообразными видами труда и получают доход из многих источников; отношения этих единиц с классами непросты и подвижны.

В этом созвездии институциональных сил не было постоянных путеводных звёзд. Не было и неких первоначальных (*«primordial»*) целостностей, которые преобладали бы над институциональными формами, навязываемыми этим целостностям накопителями капитала в союзе с рабочей силой и одновременно в борьбе с ней, так как она сопротивляется отчуждению у неё экономического продукта. Границы каждого варианта институциональной формы, «правá», которые она была способна легально и *de facto* иметь, менялись от зоны к зоне с течением как циклического, так и линейного времени. Если у внимательного аналитика кружится голова при виде этого институционального водоворота, он может найти путь, помня, что при историческом капитализме у накопителей не было цели выше, чем дальнейшее накопление, и, следовательно, у рабочей силы не было цели выше, чем выживание и уменьшение своего бремени. Если помнить об этом, то в политической истории современного мира вполне можно разобраться.

В частности, можно начать реально понимать часто парадоксальные или противоречивые позиции антисистемных движений в том виде, в котором они возникли при историческом капитализме, многословные и уклончиво-туманные заявления их лидеров. Начнём с самой простой дилеммы исторического капитализма. Он функционировал внутри мир-экономики, но не внутри мир-государства. Совсем наоборот. Как мы видели, структурное давление препятствовало любым попыткам создания мир-государства. Внутри этой системы мы подчеркнули решающую роль многочисленных государств — самых мощных политических структур, власть которых, однако, ограничена. Поэтому изменение того или иного государства представляло для рабочей силы одновременно и наиболее многообещающий путь к улучшению её положения, и путь, ценность которого ограничена.

Что можно назвать антисистемным движением? Слово «движение» означает некоторый коллективный порыв, неодномоментный по своей природе. Фактически, конечно, спонтанные до некоторой степени проявления протеста или восстания трудящихся происходили во всех известных исторических системах. Они служили предохранительными клапанами для сдерживаемого гнева или — порой более эффективно — механизмами, налагавшими незначительные ограничения на процесс эксплуатации. Однако в целом восстание как технический прием срабатывало лишь на окраинах центральной власти, особенно тогда, когда бюрократия центра вступала в фазу распада.

Структура исторического капитализма внесла изменения в эту схему. Тот факт, что государства существовали в межгосударственной системе, означал: последствия бунтов или восстаний начинали ощущаться, причём довольно быстро, за пределами государства, на территории которого они непосредственно происходили. Поэтому у так называемых «внешних» сил имелись серьёзные мотивы прийти на помощь подвергшимся атаке государственным машинам, что затрудняло восстания. Это — одна сторона дела. С другой стороны, вторжение накопителей капитала, а следовательно, и государственных машин в повседневную жизнь трудящихся было гораздо более интенсивным, чем в предыдущих исторических системах. Бесконечное накопление капитала постоянно требовало реструктуризацию организации (и местонахождения) рабочей силы, увеличения объёма абсолютной рабочей силы и осуществления психосоциальной перестройки рабочей силы. В этом смысле для большей части мировой рабочей силы мира эксплуатация, внутренний раскол и, как следствие, чувство растерянности усиливались. В то же время социальный раскол подрывал умиротворяющие методы социализации. Поэтому в итоге мотивации к бунту усиливались, несмотря на то, что вероятность успеха, возможно, объективно уменьшилась.

Именно это дополнительное напряжение привело к появлению крупного новшества в технологии восстания, которая развилась в условиях исторического капитализма. Этим новшеством стала концепция постоянной организации. Только с XIX в. мы начинаем наблюдать создание постоянно существующих бюрократизированных структур в их двух великих исторических вариантах: рабочие социалистические движения и националистические движения. Оба типа движений говорили на языке универсализма — в основном на языке французской революции: свобода, равенство и братство. Оба типа движений облекались в идеологические одежды Просвещения — неизбежность прогресса, т.е. освобождение людей, оправданное присущими человеку правами. Оба типа движений взывали к будущему против прошлого, к новому против старого. Даже когда они обращались к традиции, она трактовалась как основа возрождения.

Каждый из двух типов движений, правда, имел свой «центр тяжести» (*focus*), и поэтому сначала у них были различные локусы. Для рабочих социалистических движений главными были конфликты между городскими и безземельными наёмными рабочими деревни (пролетариатом), с одной стороны, и собственниками экономических структур, в которых они работали (буржуазией), — с другой. Представители этих движений подчёркивали, что распределение вознаграждения за труд носит по сути неэгалитарный, угнетательский и несправедливый характер. Естественно, что подобные движения впервые возникли в тех частях мир-экономики, где имелась значительная по численности промышленная рабочая сила, — в частности в Западной Европе.

Националистические движения фокусировали внимание на конфликтах между многочисленными «угнетёнными народами» (определяемыми, в терминах лингвистической и/или религиозной принадлежности) и отдельными господствующими «народами» той или иной политической юрисдикции, причём первые имели гораздо меньше политических прав, экономических возможностей и законных форм культурного выражения по сравнению со вторыми. Представители этих движений настаивали на том, что распределение «прав» носит по сути неэгалитарный, угнетательский и несправедливый характер. Естественно, подобные движения впервые возникли в полупериферийных регионах мир-экономики, таких как Австро-Венгерская империя, где неравное распределение этнонациональных групп в иерархии распределения рабочей силы было наиболее очевидным.

Вообще до совсем недавнего времени эти два вида движений рассматривали друг друга в качестве совершенно различных, а иногда даже враждебных. Союзы между ними трактовались как тактические и временные. Тем не менее с самого начала существования обоих видов движений их структуры поразительно похожи. Во-первых, после длительных дискуссий и рабочие социалистические, и националистические движения приняли фундаментальное решение стать организациями и, соответственно, своей важнейшей политической целью объявили захват государственной власти (даже, как это было в случае с некоторыми националистическими движениями, если это предполагало создание новых государственных границ). Во-вторых, решение о стратегии — захват государственной власти — требовало от этих движений мобилизации народных сил на основе антисистемной, т.е. революционной, идеологии. Они выступали против существующей системы — исторического капитализма, построенной на исходном, базовом неравенстве капитала и труда, ядра и периферии, которое эти движения стремились преодолеть.

Разумеется, в системе, основанной на неравенстве всегда есть два пути, с помощью которых группа с низким статусом может попытаться изменить своё положение. Первый — попытка реструктурировать систему так, чтобы все обладали равным статусом, второй — приобрести более высокий статус в иерархии неравного распределения. Как мы знаем, антисистемные движения (безотносительно того, насколько сильно они сосредоточивались на эгалитарных целях) всегда включали элементы, целью которых, исходно или в конечном счёте, была лишь «вертикальная мобильность» внутри существующей иерархии. Участники самих движений всегда отдавали себе отчёт в наличии этой проблемы, но были склонны обсуждать её как проблему индивидуальной мотивации: чистые сердцем против предателей общего дела. Однако, если анализ показывает, что «предателей общего дела» можно найти в каждый отдельно взятый момент в историческом развитии почти всех движений, то приходится искать структурные, а не мотивационные объяснения.

Ключ к проблеме на самом деле следует искать в главном стратегическом решении сделать захват государственной власти основной целью движения. Эта стратегия имела два фундаментальных последствия. В фазе мобилизации для достижения своей стратегической цели она подталкивала каждое движение к тактическим союзам с такими группами, которые вовсе не являлись «антисистемными». Такие союзы модифицировали структуру самих антисистемных движений уже на мобилизационной стадии. Что ещё важнее, данная стратегия в итоге во многих случаях была успешной. Многие движения частично или полностью добивались государственной власти. Затем эти успешные движения сталкивались с реальностью ограниченных возможностей государственной власти в капиталистической мир-экономике. Они обнаруживали, что функционирование межгосударственной системы ограничивает осуществление ими их власти таким образом, что приглушает их *raison d'être* — «антисистемные» цели.

Это кажется настолько очевидным, что остаётся лишь удивляться: почему эти движения основывали свою стратегию на такой внешне самопораженческой цели. Ответ прост: в данной политической структуре исторического капитализма у них не было большого выбора. Казалось, что более многообещающей стратегии просто нет. Захват государственной власти по крайней мере обещал в какой-то степени изменить баланс сил между борющимися группами. Иными словами, захват власти представлял собой *реформу* системы. Реформы действительно улучшали ситуацию, но всегда за счёт обязательного усиления системы.

Можем ли мы в связи с этим охарактеризовать деятельность мировых антисистемных движений за полтора с лишним столетия как всего лишь усиление исторического капитализма путем реформизма? Нет, поскольку политическая жизнь исторического капитализма не сводилась к политике отдельных государств. Она включала также политическую жизнь межгосударственной системы. Антисистемные движения с самого начала существовали не только сами по себе, но и как коллективное целое, хотя и никогда не были бюрократически организованы. (Многочисленные интернационалы никогда не включали в себя все эти движения.) Ключевым фактором силы любого такого движения всегда было существование других движений.

Эти последние обеспечивали любое такое движение тремя видами поддержки. Наиболее очевидной являлась материальная; она была полезной, но, возможно, наименее важной. Второй была отвлекающая поддержка. Например, способность сильного государства вмешиваться в дела более слабого государства и действовать против антисистемного движения в нём зависела от того, как много своих проблем стояло у него на непосредственной политической повестке дня. Чем больше то или иное государство было занято своим местным антисистемным движением, тем меньше возможностей у

него оставалось, чтобы заняться далеким антисистемным движением. Третий и самый существенный вид поддержки находился на уровне коллективной ментальности. Движения учились на ошибках друг друга и ободрялись тактическими успехами друг друга. А усилия движений по всему миру влияли на общую мировую политическую атмосферу — ожидания, анализ возможностей и т.п.

По мере того как антисистемные движения множились, играли всё более заметную роль в истории и добивались тактических успехов, они казались сильнее как коллективный феномен. И поскольку они казались сильнее, они были и в реальности сильнее. Бóльшая коллективная сила в мировом масштабе служила противовесом «ревизионистским» тенденциям движений, взявших государственную власть, — не более, но и не менее того; воздействие этой коллективной силы на подрыв политической стабильности исторического капитализма было сильнее, чем сумма укрепляющих систему воздействий захвата государственной власти сменявшими друг друга отдельными движениями.

Наконец, ещё один фактор имел значение. По мере того как распространялись обе разновидности антисистемных движений (рабочие социалистические движения — из нескольких сильных государств на все остальные, националистические — из немногих периферийных зон во все другие), различия между двумя видами движений всё больше стирались. Представители рабочих социалистических движений уяснили, что националистическая тема оказалась центральной для их мобилизационных усилий и для осуществления ими государственной власти. Участники же националистических движений обнаружили противоположное: чтобы эффективно мобилизоваться и управлять, им надо было направить чаяния рабочей силы в русло темы эгалитаризма. По мере того как задачи двух движений стали активно совпадать друг с другом, а их организационные формы начали постепенно исчезать как отдельные или просто объединяться в единую структуру, мощь антисистемных движений, особенно взятых как единое целое, резко увеличилась.

Одной из сильных сторон антисистемных движений стал их приход к власти во многих государствах, что изменило текущую повседневную политическую жизнь мир-системы. Однако эта сильная сторона одновременно является и слабой, поскольку так называемые постреволюционные режимы продолжают функционировать как часть общественного разделения труда исторического капитализма. Таким образом, волей-неволей они действовали под неослабным давлением импульса (*drive*) к бесконечному накоплению капитала. Политическим последствием этого в странах, где победили антисистемные движения, была продолжающаяся эксплуатация рабочей силы, пусть во многих отношениях в ослабленной и смягчённой форме. Такое положение вело к внутренним напряженным отношениям, подобным тем, что

существовали в государствах, в которых никаких революций не было. Это, в свою очередь, породило новые антисистемные движения в послереволюционных государствах. Борьба за преимущества (*benefits*) шла как внутри этих послереволюционных государств, так и повсюду в мире, потому что в рамках капиталистической мир-экономики императивы накопления пронизывают всю систему в целом. Изменения в государственной структуре изменили политику накопления, но они до сих пор не в состоянии устранить ее.

Исходно мы отложили вопросы: насколько реальными были те преимущества, которые обеспечил исторический капитализм? Насколько серьёзно изменилось качество жизни? Теперь ясно, что простого ответа нет. «Для кого?» — должны спросить мы прежде всего. Исторический капитализм создал значительную массу материальных благ, но он породил и столь же значительную поляризацию в вознаграждении. Многие получили огромные блага, но ещё у большего числа людей реальные доходы уменьшились, а качество жизни ухудшилось. Поляризация происходила и в пространстве, и поэтому казалось, что в некоторых зонах её не было. И это тоже результат борьбы за преимущества. География преимуществ часто менялась, скрывая, таким образом, реальность поляризации. Однако на протяжении всей временно-пространственной зоны, охватываемой историческим капитализмом, бесконечное накопление капитала означало непрерывное расширение реального разрыва в вознаграждении.

ГЛАВА III

Истина как опиум: рациональность и рационализация

Исторический капитализм является прометеевским в своих устремлениях. Хотя научные и технические изменения представляют собой константу исторической деятельности человека, только при историческом капитализме постоянно присутствующий в ней Прометей был «раскован», как выразился Дэвид Ландес. Распространённое представление о базовом коллективном образе научной культуры исторического капитализма заключается в том, что его творили благородные рыцари в борьбе с упорным решительным сопротивлением сил «традиционной» ненаучной культуры. В XVII в. это был Галилей против церкви; в XX в. — «модернизатор» против муллы. В любом случае утверждалось: идёт борьба «рациональности» против «суеверия» и «свободы» против «интеллектуального гнёта». Предполагалось, что это соответствует бунту буржуазного предпринимателя против аристократического землевладельца (*landlord*) в сфере политической экономии (и даже идентично ему).

Этот основной образ всемирной борьбы в сфере культуры имеет скрытую предпосылку, связанную с темпоральностью. Предполагалось, что «современность» (*modernity*) во временно́м отношении нова, тогда как «традиция» — стара и предшествует Современности; действительно, в некоторых системах представлений традиция была а-историчной и потому по сути вечной. Эта предпосылка исторически ложна, а следовательно, вводит в полное заблуждение. Многочисленные культуры, многочисленные «традиции», процветавшие во временно-пространственных рамках исторического капитализма, были не более «изначальными» (*primordial*) или архаичными, чем многочисленные институциональные структуры. Главным образом они суть порождения современного мира, часть возведённых им идеологических лесов. Связи разных «традиций» с группами и идеологиями, предшествовавшими историческому капитализму, существовали, конечно, в том смысле, что эти «традиции» часто создавались из уже существующего исторического и интеллектуального материала. К тому же утверждение (*assertion*) таких трансисто-

рических связей играет важную роль в сплочении групп в их политико-экономической борьбе в условиях исторического капитализма. Однако если мы хотим понять культурные формы, которые принимает эта борьба, то мы не должны воспринимать их как нечто данное, и, в частности, мы не можем допустить трактовку этих «традиций» как действительно традиционных.

Именно в интересах тех, кто хотел облегчить накопление капитала, было создание рабочей силы в нужных местах и с минимально возможным уровнем вознаграждения. Мы уже видели, как более низкие уровни вознаграждения периферийной экономической деятельности в мир-экономике были обеспечены путём создания таких домашних хозяйств (*household*), в которых наёмный труд играл незначительную роль по сравнению с другими источниками дохода. Одним из путей, с помощью которых «создавались» такие хозяйства, т.е. с помощью которых их заставляли структурировать себя в качестве домашних хозяйств такого типа, была «этнизация» общинной (*community*) жизни при историческом капитализме. Под «этническими группами» мы понимаем крупные группы людей, за которыми закрепляются определённые профессиональные/экономические роли по отношению к другим таким группам, живущим в географической близости. Внешним выражением такого распределения рабочей силы становилась характерная «культура» этнической группы — её религия, язык, «ценности», особый набор форм (*patterns*) повседневного поведения.

Разумеется, я не считаю, что при историческом капитализме существовало нечто вроде настоящей кастовой системы. Однако если мы условимся о достаточно широкой трактовке профессиональных категорий, то я готов защищать следующий тезис: существует и всегда существовала довольно сильная взаимосвязь между этничностью и профессиональной/экономической ролью во всех временно-пространственных зонах исторического капитализма. Я считаю, что это распределение рабочей силы менялось со временем, и вместе с ним менялась этничность — в плане границ и определяющих культурных характеристик группы. Далее, я полагаю, что почти не существует корреляции между нынешним размещением этнической рабочей силы и формами деятельности тех групп, которые считаются предками нынешних этнических групп, в периоды, предшествовавшие историческому капитализму.

Этнизация мировой рабочей силы имела три главных последствия, которые играют важную роль в функционировании мир-экономики. Во-первых, она сделала возможным воспроизводство рабочей силы — не в смысле обеспечения достаточного дохода для выживания групп, а в смысле обеспечения достаточным количеством рабочих каждой категории с подходящим уровнем запросов, ожиданий дохода (размер дохода, его формы). К тому же именно потому, что рабочая сила была этнизирована, её распределение было гибким,

подвижным. Этничность облегчила, а не затруднила широкомасштабную географическую и профессиональную мобильность. Под давлением меняющихся экономических условий всё, что требовалось для изменения размещения рабочей силы, — это чтобы несколько предпринимателей выступили инициаторами географического или профессионального перемещения и получили бы за это вознаграждение; это быстро становилось стимулом и для других представителей данной этнической группы изменить свое местоположение (*to transfer locations*) в мировой экономике.

Во-вторых, этнизация обеспечила встроенный «обучающий механизм» рабочей силы — значительная часть социализации в профессиональной деятельности стала проходить в рамках этнически определённых домашних хозяйств и, следовательно, за их счёт, а не за счёт предпринимателей или государств.

В-третьих (вероятно, это самое важное), этнизация обеспечила прочную форму для иерархии профессиональных/экономических ролей, обеспечив лёгкий код для общего распределения доходов — форму легитимации «традицией».

Именно это третье последствие было разработано в мельчайших деталях и сформировало один из важнейших столпов исторического капитализма — институциональный расизм. То, что мы подразумеваем под расизмом, имеет мало общего с ксенофобией, существовавшей в различных предшествовавших капитализму исторических системах. Ксенофобия буквально означала боязнь «чужака». Расизм при историческом капитализме — это не нечто по поводу отношения к «чужакам». Совсем наоборот. Расизм был способом, с помощью которого ограничивалось отношение друг к другу различных сегментов рабочей силы в рамках одной и той же экономической структуры. Расизм являлся идеологическим оправданием иерархизации рабочей силы и крайне неравного распределения её вознаграждения. Под расизмом мы понимаем набор (*set*) идеологических положений в комбинации с постоянным комплексом социальных практик, результатом которых было сохранение сильной взаимосвязи между этничностью и размещением рабочей силы во времени. Идеологические положения существовали в виде утверждений, согласно которым генетические и/или долгосрочные особенности «культуры» различных групп — это основная причина различного положения этих групп в экономических структурах. Тем не менее представление о том, что некоторые группы по каким-то признакам были «выше» других в их способности к той или иной экономической деятельности, всегда возникало после, а не до включения этих групп в рабочую силу. Расизм всегда приходил *post hoc*. Утверждалось, что политически и экономически угнетённые являются культурно «низшими». Однако если по какой-либо причине их место в экономической иерархии менялось, то, как правило, изменялось и место в социаль-

ной иерархии (конечно, с некоторым запозданием, поскольку устранение результатов предыдущей социализации всегда занимало время — жизнь одного-двух поколений).

Расизм выступал в качестве всеохватывающей идеологии, оправдывающей неравенство. Однако он представлял собой и нечто большее. Он был средством социализации различных групп для выполнения их роли в экономике. Внушаемые взгляды и отношения (предрассудки, явно дискриминационое поведение в повседневной жизни) определяли рамки дозволенного и законного поведения для самого человека и для других людей в домашнем хозяйстве и этнической группе. Расизм, как и сексизм, функционировал как самосдерживающая, самоограничивающая идеология, порождая ожидания и в то же время ограничивая их.

Расизм носил конечно же не только самоограничивающий, но и угнетательский характер. Он служил средством удержания низкостатусных групп в определённых социальных границах и использования среднестатусных групп в качестве неоплачиваемых солдат мировой полицейской системы. Таким образом не только существенно сокращались финансовые издержки политических структур, но и затруднялась возможность антисистемных движений мобилизовывать широкие массы (*populations*), так как расизм структурно противопоставлял одни жертвы системы другим.

Феномен расизма далеко не прост. Существовала в некотором смысле базовая мировая линия разлома, фиксировавшая относительный статус в мир-системе как в целом. Это была «цветная» линия. То, что было «белым», или высокостатусным, являлось, безусловно, социальным, а не физиологическим феноменом. На это указывает исторически менявшееся в мировых (и национальных) социально определённых «цветовых границах» положение таких групп, как южные европейцы, арабы, латиноамериканские метисы и жители Восточной Азии.

Цвет кожи (или физиология) — это ярлык, который было легко использовать, так как его по самому его существу трудно скрыть. До тех пор пока он был исторически удобен (надо помнить, что корни исторического капитализма — в Европе), его использовали. Когда же он не срабатывал, от него отказывались или его модифицировали в пользу других идентифицирующих черт. Таким образом, во многих местах наборы идентифицирующих средств стали довольно сложными. Если вдобавок учесть тот факт, что общественное разделение труда постоянно углублялось, то становится ясно: этническая/расовая идентификация является весьма шаткой основой для определения границ существующих социальных групп. Группы приходили, уходили и довольно легко меняли свое самоопределение (и так же легко воспринимались другими как имеющие разные границы). Однако непостоянство границ любой данной группы соответствовало сохранению общей иерархии групп (на

самом деле, вероятно, было её функцией), т.е. имела место этнизация мировой рабочей силы.

Таким образом, расизм был культурным столпом исторического капитализма. Его интеллектуальная пустота не помешала ему творить ужасные жестокости. Тем не менее, несмотря на рост мировых антисистемных движений за последние 50–100 лет, он лишь сравнительно недавно стал объектом резкой критики. Действительно, сегодня расизм в его грубых вариантах подвергается некоторой делегитимации на мировом уровне. Однако он — не единственный идеологический столп исторического капитализма. Расизм играет важнейшую роль в создании и воспроизводстве подходящей рабочей силы. Её воспроизводства тем не менее было недостаточно для бесконечного накопления капитала. От рабочей силы нельзя было ожидать эффективного и непрерывного выполнения её функций, если ею не управляли руководящие кадры. Эти кадры тоже надо было создавать, социализовывать, воспроизводить. Исходной идеологией, которая их создавала, социализовывала и воспроизводила, не была идеология расизма. Это была идеология универсализма.

Универсализм есть эпистемология, комплекс представлений о том, *что* можно познать и *как* это можно познать. Суть универсализма как идейной позиции заключается в следующем. Существуют значимые общие утверждения о мире — физическом, социальном, — которые универсально и постоянно верны, и что цель науки — поиск этих общих утверждений в такой форме, которая устраняет все так называемые субъективные, т.е. все исторически ограниченные элементы из процесса познания.

Вера в универсализм — главная опора идеологического небосвода исторического капитализма. Универсализм — вера в той же степени, что и эпистемология. Она требует не просто уважения, но почтения к неуловимому, но якобы реальному феномену истины. Университеты являются идеологическими мастерскими и в то же время храмами веры. На гербе Гарварда написано: *Veritas.* Хотя постоянно утверждалось, что невозможно познать истину со всей определённостью (этот тезис, предполагается, отличает современную науку от средневековой западной теологии), с не меньшим постоянством подчёркивалось, что поиск истины является *raison d'être* университета и, шире, всей интеллектуальной деятельности. Чтобы оправдать искусство, Китс объявил нам, что «истина — красота, а красота — истина». В Соединённых Штатах любимым политическим оправданием гражданских свобод является то, что истину можно познать лишь как результат взаимодействия, происходящего на «свободном рынке идей».

Как культурная идея истина действовала подобно наркотику, возможно, единственному серьёзному наркотику современного мира. Карл Маркс сказал, что религия — опиум масс. Раймон Арон резко возразил, что марксист-

ские идеи, в свою очередь, являются опиумом интеллектуалов. Оба эти полемических тезиса не лишены проницательности. Но является ли проницательность истиной? Хочу выдвинуть предположение, что, возможно, настоящим опиумом и масс, и интеллектуалов является истина. Наркотики, безусловно, не представляют собой только зло: они облегчают боль, они позволяют людям спастись от жестокой действительности, когда люди опасаются, что столкновение с ней может лишь ускорить неизбежные потери или крушение. Однако тем не менее большинство из нас не одобряют наркотики. Этого не делали ни Маркс, ни Раймон Арон. В большинстве государств и для большинства целей они незаконны.

Наше коллективное образование научило нас, что поиск истины — бескорыстная добродетель, тогда как на самом деле он является корыстной рационализацией. Поиск истины, провозглашённый краеугольным камнем прогресса, а значит, благосостояния, как минимум созвучен сохранению иерархически неравной социальной структуры в ряде специфических отношений. Процессы, характеризующие расширение капиталистической мир-экономики, — периферизация экономических структур, создание слабых государственных структур, являющихся частью межгосударственной системы и ограниченных ею, — означали давление на уровне культуры: христианский прозелитизм, насаждение европейских языков, обучение специфическим технологиям и обычаям, изменение в сводах законов. Многие из этих изменений были осуществлены *manu militari*. Другие были достигнуты путём убеждения со стороны «педагогов», чья власть в конечном счёте подкреплялась военной силой. Вот что такое комплекс процессов, который мы иногда называем «вестернизацией» или даже более заносчиво «модернизацией» и который был узаконен желательностью поделиться плодами идеологии универсализма и верой в него.

За этими насильственными культурными изменениями стояли два главных мотива. Один — экономическая эффективность. Если ожидалось, что те или иные лица будут вести себя в экономической сфере определённым образом, то было целесообразно научить их требуемым культурным нормам и искоренить конкурирующие культурные нормы. Другой мотив — политическая безопасность. Существовало убеждение, что если так называемые элиты периферийных зон «вестернизовать», то они окажутся отделены от своих «масс», а поэтому уменьшится вероятность их восстания, — безусловно, они станут менее способными организовывать потенциальных бунтарей. В конечном счёте это стало колоссальным просчётом, но сначала казалось правдоподобным и какое-то время работало. (Третьим мотивом был *hybris* со стороны завоевателей. Я не игнорирую этот фактор, но не считаю нужным обращаться к нему для объяснения культурного давления, которое было бы столь же сильным и в его отсутствие.)

В то время как расизм служил механизмом мирового контроля над непосредственными производителями, универсализм действовал таким образом, чтобы направить деятельность буржуазии других государств и различных средних слоёв во всём мире так, чтобы максимально увеличить тесную интеграцию производственных процессов и гладкое функционирование межгосударственной системы, тем самым облегчая накопление капитала. Это потребовало создания мировой буржуазной культурной структуры (*framework*), которую можно было привить различным «национальным» формам. Это было особенно важно в сфере науки и техники, но также и в области политических идей и социальных наук.

В результате концепция нейтральной «универсальной» культуры, к которой были бы ассимилированы руководящие кадры мирового разделения труда (здесь важен страдательный залог), стала служить в качестве одного из столпов мир-системы в том виде, в каком эта последняя возникла. Восторженное возвеличивание прогресса, а позднее — «модернизации» суммировало этот набор идей, служивших в меньшей степени в качестве настоящих норм социального действия, чем в качестве статусных символов подчинения и участия (подлинного участия) в мировой высшей страте. Разрыв с якобы узкокультурными религиозными основами знания в пользу якобы транскультурных научных основ знания служил самооправданием особенно зловещей формы культурного империализма. Он господствовал во имя интеллектуальной либерализации, а обманывал во имя скептицизма.

Центральный для капитализма процесс рационализации потребовал создания промежуточного посреднического слоя, состоящего из специалистов по этой рационализации, — администраторов, техников, учёных, педагогов. Сама сложность не только техники, но и социальной системы сделала необходимыми и значительную численность этой страты, и — со временем — её расширение, экспансию. Средства, используемые на её поддержку, выделялись из мировой прибыли (*surplus*), присваиваемой предпринимателями и государствами. Следовательно, в данном простом, но существенном смысле эти кадры (*cadres*) являлись частью буржуазии, чья претензия на участие в получении прибыли обрела точную идеологическую форму в распространившейся в XX в. концепции человеческого капитала. Обладая относительно небольшим реальным капиталом для передачи по наследству, эти кадры стремились передать привилегии путем обеспечения своим детям предпочтительного доступа к каналам образования, гарантирующим высокое социальное положение. Этот предпочтительный доступ удобно подавался как достижение, якобы узаконенное узко определённым «равенством возможностей».

Таким образом, научная культура стала кодом братства мировых накопителей капитала. Она служила прежде всего для оправдания как их собствен-

ной деятельности, так и дифференцированного вознаграждения, — именно это неравенство было источником их благ. Научная культура поощряла технические нововведения. Она узаконивала грубое уничтожение барьеров на пути экспансии эффективности производства. Она породила форму прогресса, которая якобы принесла пользу всем, — если не сразу, то по крайней мере со временем.

Однако научная культура представляла собой нечто большее, чем простая рационализация. Она была формой социализации различных элементов, выступавших в качестве кадров для всех необходимых капитализму институциональных структур. Как общий и единый язык кадров, но не трудящихся, она стала также средством классового сплочения высшей страты, ограничивая перспективы или степень бунтовщической деятельности со стороны той части кадров, которая могла бы поддаться этому соблазну. Более того, это был гибкий механизм воспроизводства указанных кадров. Научная культура поставила себя на службу концепции, известной сегодня как «меритократия», а раньше — как *«la carrière ouverte aux talents»*. Эта культура создала структуру, внутри которой индивидуальная мобильность была возможна, но так, чтобы не стать угрозой для иерархического распределения рабочей силы. Напротив, меритократия усилила иерархию. Наконец, меритократия как процесс (*operation*) и научная культура как идеология создали завесу, мешающую постижению реального функционирования исторического капитализма. Сверхакцент на рациональности научной деятельности был маской иррациональности бесконечного накопления.

При поверхностном взгляде универсализм и расизм могут казаться странными компаньонами или даже фактически прямо противоположными доктринами: одна открытая, другая закрытая; одна уравнительная, другая поляризующая; одна приглашает к рациональному анализу, другая — воплощает предрассудок. Тем не менее, поскольку в ходе эволюции исторического капитализма эти две доктрины распространялись и господствовали вместе, имеет смысл внимательнее приглядеться к тому, в чём они могли быть совместимы.

Универсализм — хитрая штука, в нём заключена ловушка. Он не пробивал себе путь как свободно парящая идеология, а целенаправленно распространялся теми, кто обладал экономической и политической властью в мир-системе исторического капитализма. Универсализм предлагался миру как подарок сильных слабым. *Timeo Danaos et dona ferentes!* Сам этот подарок скрывал в себе расизм, поскольку предлагал получившему два выбора: либо принять подарок и тем самым признать свое низкое положение в иерархии достигнутой (накопителями капитала. — *ред.*) мудрости; либо отказаться от него и тем самым отказаться от оружия, с помощью которого можно было бы изменить ситуацию неравенства реальной власти на противоположную.

Нет ничего странного в том, что кадры, которые были кооптированы в систему привилегий, занимали весьма двойственную позицию по поводу идеи универсализма, колеблясь между восторженным ученичеством и культурным неприятием, вызванным отвращением к расистским положениям. Слово «возрождение», широко использовавшееся во многих зонах мира, само воплощало двойственность. Говоря о возрождении, человек подтверждал существование эпохи прежней культурной славы, но тем же самым он признавал культурную неполноценность своего, т.е. настоящего, времени. Само слово «возрождение» было скопировано со специфической культурной истории Европы.

Можно было бы предположить, что мировая рабочая сила, которую никогда не приглашали за господский стол, менее восприимчива к этой двойственности. Однако на самом деле политическое выражение интересов мировой рабочей силы — антисистемные движения — сами были глубоко пропитаны той же двойственностью. Антисистемные движения, как мы уже отмечали, рядились в идеологические одежды Просвещения, которое само являлось первичным продуктом универсалистской идеологии. Тем самым они загнали себя в культурную ловушку, где и находятся до сих пор: они стремятся подорвать исторический капитализм, используя стратегии и ставя среднесрочные цели, ведущие происхождение от тех самых «идей правящего класса», который они намереваются уничтожить.

Социалистический вариант антисистемных движений с самого начала был предан научному прогрессу, клялся его именем. Маркс, желая отмежеваться от тех, кого он назвал «утопистами», утверждал, что защищает «научный социализм». В его работах акцентировались прогрессивные аспекты капитализма. Концепция, согласно которой социализм раньше всего наступит в самых «развитых» странах, предполагала процесс, путём которого социализм вырос бы из дальнейшего развития капитализма (и стал бы реакцией на него). Социалистическая революция, таким образом, вступала бы в соревнование с «буржуазной революцией» *и произошла бы после неё.* Некоторые позднейшие теоретики даже доказывали, что в связи с этим социалисты обязаны содействовать буржуазной революции в тех странах, где она ещё не произошла.

Позднейшие разногласия между Вторым и Третьим Интернационалами не включали расхождения по этой эпистемологии, разделявшейся обоими. Действительно, и социал-демократы, и коммунисты, находясь у власти, были склонны отдавать безусловный приоритет дальнейшему развитию средств производства. И сегодня огромные знамёна с ленинским лозунгом «Коммунизм — это социализм плюс электричество» висят на улицах Москвы. В той степени, в какой эти движения, будь то социал-демократы или коммунисты, оказавшись у власти, проводили в жизнь сталинские лозунги «социализма в

одной стране», они неизбежно способствовали процессу товаризации всего, столь необходимому для глобального накопления капитала. В той степени, в какой они оставались внутри существующей межгосударственной системы, и более того, боролись за то, чтобы остаться внутри неё вопреки всем попыткам исключить их из неё, они принимали мировую реальность господства закона стоимости и содействовали ему. «Социалистический человек» подозрительно напоминал взбесившийся тэйлоризм.

Конечно, существовали «социалистические» идеологии, претендующие на отрицание универсализма Просвещения и отстаивающие различные «местные» разновидности социализма для периферийных зон мир-экономики. В той степени, в какой эти формулировки были чем-то бóльшим, чем простая риторика, они казались *de facto* попытками использовать в качестве базовой единицы процесса товаризации не новые домашние хозяйства с общим доходом, а более крупные общинные организмы, являвшиеся, как утверждалось, более «традиционными». В целом, однако, даже наиболее серьёзные из этих попыток провалились. В любом случае мейнстрим мирового социалистического движения осуждал эти попытки как несоциалистические, как формы ретроградного культурного национализма.

На первый взгляд националистическое разнообразие антисистемных движений не казалось идеологически обусловленным, поскольку центральное место в дискурсе занимали темы обособленности. Однако более внимательный взгляд опровергает такое впечатление. Разумеется, национализм с неизбежностью включал в себя культурный компонент, с помощью которого отдельные движения заявляли необходимость укрепления национальной «традиции», национального языка, часто — религиозного наследия. Однако являлся ли культурный национализм культурным сопротивлением давлению накопителей капитала? На самом деле два основных элемента культурного национализма развивались в противоположных направлениях.

Во-первых, целостностью (*unit*), выбранной в качестве средства сохранения (местной) культуры, было выбрано государство, выступавшее в качестве элемента межгосударственной системы. Чаще всего именно государство и было носителем «национальной» культуры. Однако практически в любом случае это вело к искажению культурной преемственности, часто весьма серьёзному. Почти во всех случаях утверждение национальной культуры, воплощённой в государстве, с неизбежностью вело к разрыву преемственности так же часто, как и к её подтверждению и развитию. Государство всегда укрепляло государственную структуру и тем самым — межгосударственную систему и исторический капитализм как мир-систему.

Во-вторых, сравнительный взгляд на то, как различные государства развивают и поддерживают культуру, показывает, что различной была лишь форма, тогда как содержание развивалось в одном и том же направлении.

Различались морфемы языков, но одним и тем же становился словарный запас. Все ритуалы и теологические системы мировых религий, возможно, обрели второе дыхание, однако они стали меньше отличаться друг от друга по фактическому содержанию, чем прежде. А формы знания, предшествующие научности как явлению были открыты заново под многими и разнообразными именами. Короче, значительная часть культурного национализма является гигантской шарадой. Более того, культурный национализм, подобно «социалистической культуре», часто выступал в качестве главного сторонника универсалистской идеологии современного мира, «поставляя» её мировой рабочей силе наиболее удобными и приятными для этой силы способами. В этом смысле антисистемные движения часто служили культурными посредниками между сильными и слабыми, скорее подрывая, чем выращивая их глубоко укоренившиеся ростки сопротивления.

Противоречия, присущие стратегии захвата антисистемными движениями государственной власти в сочетании с молчаливым принятием ими универсалистской эпистемологии привели к серьёзным последствиям для этих движений. Им всё больше приходится иметь дело с таким явлением, как разочарование масс. Основной идеологический ответ антисистемных движений на это разочарование — очередное новое подтверждение главного оправдания исторического капитализма: автоматическое и неизбежное качество прогресса или, как сейчас многие говорят в СССР, «научно-технической революции».

Появившись в XX в. и усиливаясь с 1960-х годов, тема «цивилизационного проекта», как любит говорить Анвар Абд-аль-Малик, стала набирать силу. В то время как для многих новый язык «эндогенных альтернатив» был просто вербальным вариантом старых универсализующих культурных националистических тем, для других в этой теме присутствовало действительно новое эпистемологическое содержание. «Цивилизационный проект» вновь поставил вопрос: существуют ли на самом деле трансисторические истины? Форма истины, отражающая властные реалии и экономические императивы исторического капитализма, процветает и распространилась во всём мире. Это, как мы видели, действительно так. Но много ли света проливает эта форма истины на процесс упадка этой исторической системы или на существование реальных исторических альтернатив исторической системе, основанной на бесконечном накоплении капитала? Вот в чём вопрос.

У этой новой формы фундаментального сопротивления в сфере культуры есть материальная основа. В ходе своей экспансии антисистемные движения с каждой новой мобилизацией сил рекрутировали всё больше и более экономически и политически маргинальных элементов, включая такие, которым едва ли могли перепасть даже крохи накопленной прибыли. В то же время следующие одна за другой демифологизации самих этих движений

подрывали воспроизводство внутри них универсалистской идеологии. В результате движения оказались открыты растущему числу маргинальных элементов, которые ставят под сомнение всё больше идеологических основ. Если сравнивать антисистемные движения 1850–1950 гг. с таковыми второй половины XX в., то в последних участвуют больше людей из периферийных зон, больше женщин, больше людей из групп «меньшинств» (как бы их ни определять); среди рабочих увеличился процент неквалифицированных, низкооплачиваемых. Это характерно и для мира в целом, и для отдельных государств, причём как на уровне рядовых членов, так и на уровне руководства движений. Такой сдвиг в социальной базе не мог не изменить культурно-идеологических предпочтений мировых антисистемных движений.

До сих пор мы пытались описать, как в реальности капитализм функционировал в качестве исторической системы. Однако исторические системы — именно исторические. Они возникают и в конце концов исчезают в результате внутренних процессов, обострение в которых внутренних противоречий ведет к структурному кризису. Структурные кризисы продолжительны, а не кратковременны. Для их самореализации необходимо время. Исторический капитализм вошёл в свой структурный кризис в начале XX в. и, вероятно, придёт к своему концу как историческая система где-то в следующем веке. Рискованно предсказывать, что придёт ему на смену. Сейчас мы можем лишь проанализировать масштабы самóго структурного кризиса и попытаться понять, в каком направлении толкает нас системный кризис.

Первый и наиболее существенный аспект этого кризиса заключается в том, что мы подошли к пределу процесса товаризации всего. Иными словами, исторический капитализм оказался в кризисе именно потому, что, осуществляя бесконечное накопление капитала, он начинает приближаться к тому состоянию, которое Адам Смит считал «естественным» для человека, но которое *никогда* исторически не существовало. Склонность человечества к обмену распространилась на ранее нетронутые сферы и зоны, и давление с целью расширения товаризации не сталкивается с серьёзным противодействием. Маркс говорил о рынке как о «занавесе», скрывающем общественные отношения производства. Это было верно лишь в том смысле, что по сравнению с прямым местным присвоением продукта косвенное рыночное (а следовательно, внелокальное) присвоение прибыли было труднее различить и, соответственно, против него было труднее (для мировой рабочей силы) политически бороться. Однако «рынок» действовал на основе количественных показателей общей меры — денег. Это скорее проясняло, чем скрывало размер реально присваиваемого. На что рассчитывали накопители капитала в качестве политической сетки безопасности, так это на то, что лишь часть рабочей силы измерялась подобным образом. По мере того как всё больше рабочей силы превращается в товар, а домашнее хозяйство всё

больше становится звеном в цепи товарных отношений, поток присваиваемого продукта становится всё заметнее. В результате усиливается политическое противодействие, а его прямой целью всё больше становится структура экономики. Накопители капитала, далекие от стремления ускорить пролетаризацию, пытаются замедлить её, но полностью остановить её они не могут из-за противоречивого характера своих собственных интересов, так как они выступают и в качестве индивидуальных предпринимателей, и в качестве представителей определённого класса.

Это постепенный, бесконечный процесс, который невозможно сдержать, пока цель экономики — бесконечное накопление капитала. Система может продлить себе жизнь, замедляя некоторые виды деятельности, изнашивающие её, однако смерть всё равно маячит где-то на горизонте.

Один из способов, с помощью которых накопители капитала продлили существование системы, — это политические ограничения, которые они встроили в неё, что заставило антисистемные движения реализовывать стратегию захвата государственной власти путём создания формальных организаций. У них не было реального выбора, но стратегия оказалась самоограничивающей.

Однако, как мы видели, противоречия этой стратегии сами породили кризис на политическом уровне. Это не кризис межгосударственной системы, которая до сих пор хорошо функционирует, выполняя свою главную задачу сохранения иерархии и сдерживания оппозиционных движений. Политический кризис — это кризис самих антисистемных движений. По мере того как различие между социалистическими и националистическими движениями начинает стираться и всё большее число этих движений добивается государственной власти (со всеми её ограничениями), мировое антисистемное движение было вынуждено приступить к переосмыслению всех святынь (*pieties*), коренящихся в идеях XIX в. и соответствующих им формах анализа. Успех капиталистов в накоплении привёл к слишком значительной товаризации, которая угрожает системе как таковой; подобно этому и успех антисистемных движений в захвате власти привел к слишком сильному укреплению системы, которое угрожает тем, что мировая рабочая сила отбросит эту самоограничивающую стратегию.

Наконец, кризис носит культурный характер. Кризис антисистемных движений — сомнение в их базовой стратегии — ставит под сомнение предпосылки универсалистской идеологии. Это происходит в двух сферах: в движениях, где к поиску «цивилизационных» альтернатив впервые отнеслись серьёзно, и в интеллектуальной жизни, где весь интеллектуальный аппарат, который начал возникать с XIV в., постепенно подвергается сомнению. Отчасти это сомнение опять же есть результат успеха. В физических науках исследования, порождённые современным научным методом, кажется, ставят

под сомнение существование универсальных законов, признание которых лежит в основе этого метода. Сейчас говорят о введении времени, темпоральности в науку. В социальных науках, к которым, с одной стороны, относятся как к «бедному родственнику», а с другой — как к царице наук (по крайней мере, таково отношение к социологии), вся парадигма развития сейчас открыто ставится под сомнение в самых своих основаниях.

Постановка новых интеллектуальных вопросов (*re-opening of intellectual issues*), с одной стороны, является продуктом внутреннего успеха и внутренних противоречий. Однако, с другой стороны, оно обусловлено потребностью переживающих кризис движений найти способ справиться со структурами исторического капитализма, эффективнее бороться с ними, так как кризис этих структур — отправная точка всей остальной деятельности.

О кризисе исторического капитализма часто говорят как о переходе от капитализма к социализму. Я согласен с этой формулой, но она мало что объясняет. Мы ещё не знаем, каким образом может функционировать социалистический мировой порядок, который радикально бы сократил разрыв в материальном благосостоянии и неравенстве реальной власти. Существующие государства или движения, называющие себя социалистическими, предлагают мало ориентиров на будущее. Они — явления настоящего, т.е. исторической капиталистической мир-системы, и их следует оценивать в её рамках. Они могут быть агентами кончины капитализма, хотя, как мы показали, вряд ли повсюду одним и тем же образом. Но грядущий мировой порядок будет медленно строить себя на путях, которые мы едва ли можем представить, не говоря о том, чтобы предсказать. Поэтому думать, что новый порядок будет хорошим или даже лучше, чем прежний, — вопрос веры. Однако мы знаем: то, что мы имеем, не было чем-то хорошим, и по мере того как исторический капитализм двигался своим историческим путём, он, по моему мнению, становился хуже — именно из-за своего успеха — а не лучше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: О ПРОГРЕССЕ И ПЕРЕХОДАХ

Если существует одна-единственная идея, которая ассоциируется с современным миром и которая в то же время является его опорой (*centrepiece*), то это идея прогресса. Речь не идёт о том, что все верили в прогресс. В великом общественном идеологическом споре между консерваторами и либералами, который отчасти предшествовал французской революции, но главным образом стал её следствием, сутью консервативной позиции было сомнение в том, что происходящие в Европе и мире изменения можно рассматривать как прогресс или что прогресс действительно является подходящим и значимым понятием (*concept*). Тем не менее, как мы знаем, именно либералы возвестили начало эпохи и воплощали то, чему в XIX в. суждено было стать господствующей идеологией существующей длительное время капиталистической мир-экономики.

Неудивительно, что либералы верили в прогресс. Идея прогресса оправдывала в целом переход от феодализма к капитализму. Она узаконивала разрушение остатков сопротивления процессу тотальной товаризации и затушёвывала отрицательные черты капитализма на том основании, что блага, которые он несёт, сильно перевешивают причиняемый им же ущерб. Поэтому совсем не удивительно, что либералы верили в прогресс.

Удивительно то, что их идеологические противники марксисты — антилибералы, представители угнетённых рабочих классов — верили в прогресс по меньшей мере с такой же страстью, как и либералы. Несомненно, эта вера и для них служила важной идеологической цели. Она оправдывала деятельность мирового социалистического движения на том основании, что это последнее было носителем неизбежной тенденции исторического развития. Более того, казалось весьма ловким ходом пользоваться этой идеологией в дискуссиях, поскольку это означало сбивающее с толку использование идей самих буржуазных либералов против них же.

К несчастью, у этого внешне хитроумного и, безусловно, восторженного принятия светской веры в прогресс были два небольших недостатка. Оправдывая социализм, идея прогресса оправдывала и капитализм. Вряд ли можно было петь осанну пролетариату, не воздав сначала хвалу буржуазии. Знаменитые Марксовы работы по Индии, а также «Манифест Коммунистический партии» со всей очевидностью свидетельствуют об этом. Более того, поскольку прогресс измерялся в материальном плане (могли ли марксисты не согласиться с этим?), идею прогресса можно было повернуть (что и было сделано в последние пятьдесят лет) против всех «социалистических экспери-

ментов». Кто не слышал осуждений СССР в том, что уровень жизни там ниже, чем в США? Более того, несмотря на хвастливые заявления Хрущёва, мало оснований думать, что это неравенство исчезнет в ближайшие пятьдесят лет.

Принятие марксистами эволюционной модели прогресса — это опаснейшая ловушка, наличие которой в качестве одного из элементов идеологического кризиса, являющегося частью всеобщего структурного кризиса капиталистической мир-экономики, социалисты начали понимать лишь недавно.

Это просто неправда, что капитализм как историческая система представлял собой прогресс по сравнению с различными предыдущими историческими системами, которые он уничтожил или трансформировал. Даже когда я пишу это, я чувствую дрожь, которая сопутствует осознанию богохульства. Я боюсь гнева богов, так как меня «выковали» в той же идеологической кузнице, что и всех моих товарищей, и я поклонялся тем же святыням, что и они.

Одна из проблем при анализе прогресса — односторонность всех предлагаемых мер, оценок. Говорят, что научный и технический прогресс — явление неоспоримое и захватывающее, что, конечно, верно, особенно если учесть, что бóльшая часть технических знаний носит кумулятивный характер. Однако мы никогда серьёзно не обсуждаем, сколько знаний мы потеряли в ходе той всемирной чистки, которую провели идеологи универсализма. А если и обсуждаем, то заносим такое знание в категорию всего лишь (?) повседневного здравого смысла. Тем не менее недавно обнаружилось, что например, в сфере сельского хозяйства те методы, от которых отказались век или два назад (процесс, навязанный просвещёнными элитами отсталым массам), часто следует возродить, так как они оказываются более, а не менее эффективными. Ещё важнее то, что на самых «границах» высокоразвитой науки мы обнаруживаем попытки вернуться к тем принципам, от которых торжественно отказались столетие или пять столетий назад.

Говорят, что исторический капитализм изменил технические возможности человечества. Каждое вложение человеческой энергии вознаграждалось всё бóльшим и бóльшим количеством выпускаемой продукции. Это, конечно же, верно. Однако при этом мы почему-то даже не пытаемся подсчитать: чтобы добиться этого, насколько человечество сократило или увеличило общие вложения энергии, которую отдельные индивиды или все люди вместе в капиталистической мир-экономике должны были обеспечить как в единицу времени, так и на протяжении всей жизни? Можем ли мы быть так уверены, что мир исторического капитализма менее обременителен, чем таковой предшествующих ему систем? Есть серьёзная причина сомневаться в этом, о чем свидетельствует, например, интериоризация в нашем суперэго принуждения к труду, превращение внешнего императива «работать больше» во внутренний мотив.

Говорят, что ни в одной предыдущей исторической системе люди не вели такую удобную в материальном отношении жизнь и не имели в своем распоряжении такого выбора жизненных путей, как при нынешней системе. Опять же, это утверждение звучит верно, оно иллюстрируется регулярным сравнением с жизнью наших непосредственных предков. Тем не менее сомнения и в этой области нарастали в течение всего XX в., что со всей очевидностью проявляется ныне в нашем частом обращении к «качеству жизни» и растущем беспокойстве по поводу аномии, отчуждения и психических болезней. Наконец, говорят, что исторический капитализм значительно расширил пределы человеческой безопасности — от ущерба и смерти от местных (*endemic*) опасностей (четыре всадника Апокалипсиса) и от беспорядочного насилия. С этим опять же не поспоришь на микроуровне (несмотря на недавно вновь открытые опасности городской жизни). Но верно ли это сегодня для макроуровня, даже если исключить дамоклов меч ядерной войны?

По меньшей мере ни в коем случае не самоочевидно, что сегодня в мире больше свободы, равенства и братства, чем тысячу лет назад. Вполне резонно можно было бы утверждать противоположное. Я не пытаюсь представить миры, существовавшие до исторического капитализма, идиллией. На самом деле в них было мало свободы, мало равенства и мало братства. Единственный вопрос заключается в том, представлял ли собой исторический капитализм в этих отношениях прогресс или регресс.

Я не говорю о мере сравнения жестокостей. Это было бы трудным, а также печальным исследованием, хотя оснований для оптимистических выводов по поводу достижений исторического капитализма в этой сфере мало. Мир XX в. может претендовать на то, что он продемонстрировал необыкновенные таланты в усовершенствовании этих древних искусств. Я не говорю об увеличивающихся и действительно невероятных социальных потерях, которые являются результатом конкурентной гонки в бесконечном накоплении капитала и уровень которых может начать граничить с непоправимым.

Я предпочитаю обосновывать мои доказательства вполне материальными соображениями, которые относятся не к социальному будущему, а к современному историческому периоду капиталистической мир-экономики. Этот аргумент прост, если не дерзок. Я хочу защитить одно марксистское утверждение, которое даже ортодоксальные марксисты склонны хоронить с позором, — тезис об абсолютном (а не относительном) обнищании пролетариата.

Я слышу дружеский шёпот: конечно же, вы это не всерьёз, конечно же, вы имеете в виду относительное обнищание. Разве сегодня промышленный рабочий не живёт несравнимо лучше, чем в 1800 г.? Промышленный рабочий — да, или по меньшей мере многие промышленные рабочие. Однако промышленные рабочие до сих пор составляют относительно малую часть мирового населения. Подавляющая часть мировой рабочей силы, которая

живёт в сельской местности или перемещается между нею и городскими трущобами, живёт хуже, чем их предки пятьсот лет назад. Они хуже питаются, и их диета, безусловно, менее сбалансирована. Хотя у них больше шансов, чем у их предков, выжить в первый год своей жизни (благодаря результатам социальной гигиены, главная цель которой — защитить привилегированные группы), я сомневаюсь, что жизненные перспективы большинства мирового населения старше одного года лучше, чем раньше; думаю, правильно утверждать противоположное. Несомненно, бóльшая часть мирового населения работает интенсивнее — больше часов в день, в год, за жизнь. И поскольку они делают это за меньшее общее вознаграждение, норма эксплуатации увеличилась весьма резко.

Являются эти люди более угнетёнными политически и социально? Более эксплуатируемыми экономически? На эти вопросы трудно ответить. Как однажды заметил Джек Гуди, у социальной науки нет эйфориметров. Небольшие общины, внутри которых протекала бóльшая часть жизни людей при предыдущих исторических системах, предполагали форму социального контроля, которая, несомненно, ограничивала выбор человека и социальную изменчивость. Несомненно, многие воспринимали это как активное угнетение. Другие, более удовлетворённые ситуацией, платили за своё положение зауженным представлением о человеческих возможностях.

Конструирование исторического капитализма предполагало, как все мы знаем, постоянное сокращение, даже полное уничтожение роли этих небольших общинных структур. Но что заняло их место? Во многих зонах и на долгое время прежнюю роль общинных структур взяли на себя «плантации», т.е. широкомасштабные политико-экономические структуры угнетения, которые контролировались «предпринимателями». Вряд ли можно сказать, что «плантации» капиталистической мир-экономики — основанные на рабстве, тюремном заключении, издольщине (принудительной либо по контракту) или наёмном труде — обеспечивали больший простор для «индивидуальности». «Плантации» можно рассматривать как исключительно эффективный способ изъятия прибавочной стоимости. Несомненно, они существовали и раньше в человеческой истории, но никогда прежде их не использовали так широко в сельскохозяйственном производстве — в отличие от горного дела и строительства широкомасштабной инфраструктуры, которые, однако, имели тенденцию к охвату гораздо меньшего числа людей в глобальном масштабе.

Даже там, где та или иная форма прямого авторитарного контроля над сельскохозяйственной деятельностью (то, что мы только что назвали «плантациями») не заменила предыдущие более рыхлые общинные структуры контроля, распад общинных структур в сельских зонах не переживался как «освобождение», поскольку он неизбежно сопровождался, а часто и прямо порождался постоянно растущим контролем со стороны возникающих

государственных структур. Последние всё менее охотно оставляли за непосредственным производителем право принятия решения на местном уровне. Тенденция развивалась исключительно в сторону насильственного увеличения вложения труда и большей специализации этой трудовой деятельности (что с точки зрения рабочего ослабляло его «сделочную позицию» и психологически травмировало его).

И это ещё не всё. Исторический капитализм развил идеологическую структуру угнетающего унижения, которая прежде никогда не существовала и которую сегодня мы называем сексизмом и расизмом. Как уже отмечалось, в предыдущих исторических системах и господствующее положение мужчин над женщинами, и общая ксенофобия были широко распространены, по сути универсальны. Однако сексизм — нечто бóльшее, чем господствующее положение мужчин над женщинами, а расизм — нечто бóльшее, чем общая ксенофобия.

Сексизм представлял собой вытеснение женщин в сферу непроизводительного труда, вдвойне унизительное тем, что от них требовали более интенсивного труда, а также тем, что производительный труд стал в капиталистической мир-экономике — впервые в человеческой истории — основой легитимации привилегий. Это создало двойной узел, неустранимый внутри системы.

Расизм не был ни ненавистью, ни угнетением чужака, кого-то извне исторической системы. Напротив, расизм представлял собой стратификацию рабочей силы внутри исторической системы, целью которой было удержание угнетённых групп внутри этой системы, а не исключение их. Он оправдывал низкое вознаграждение производительного труда, несмотря на его решающее значение в определении права на вознаграждение. Расизм обеспечивал это, определяя работу с самым низким вознаграждением как вознаграждение за самую низкоквалифицированную работу. Поскольку это делалось *ex definitio*, никакие изменения в качестве выполняемой работы уже не могли привести к чему-то большему, чем изменение формы обвинения; в то же время идеология провозглашала, что вознаграждения за индивидуальное усилие вознаграждается индивидуальной мобильностью. Этот двойной узел был так же неустраним.

Как сексизм, так и расизм были социальными процессами, в которых «биология» определяла положение. Так как биология в любом непосредственном смысле была социально неизменима, казалось, налицо структура, которая, будучи социально создана, не поддавалась, однако, социальному демонтажу. На самом деле это, конечно же, было не так. Верно, что структуры сексизма и расизма не могли и не могут быть демонтированы без демонтажа всей исторической системы, которая создала их и которую их функционирование поддерживало весьма активно.

Поэтому и с материальной, и с психологической (сексизм и расизм) точек зрения имело место абсолютное обнищание. Это, конечно, означало, что существовал увеличивающийся «разрыв» в потреблении излишка между верхними 10–15% населения в капиталистической мир-экономике и остальными.

То, что у нас возникало иное впечатление, объясняется тремя фактами. Во-первых, идеология меритократии действительно функционировала с целью обеспечения значительной индивидуальной мобильности, даже мобильности специфических этнических и/или профессиональных групп рабочей силы. Однако это происходило без фундаментального изменения общей «статистики» мир-экономики, так как индивидуальной (или субгрупповой) мобильности противостояло увеличение численности низшего слоя либо включением нового населения в мир-экономику, либо из-за различий в темпах демографического роста.

Вторая причина, из-за которой мы не наблюдали увеличивающегося разрыва, заключается в том, что наш исторический и социальный научный анализ сосредоточивался на происходившем внутри «средних классов» — т.е. внутри тех 10–15% населения мир-экономики, которые потребляли продукта больше, чем сами производили. *Внутри этого сектора* действительно происходило относительно резкое выравнивание кривой между самым верхом (составлявшим менее 1% всего населения) и действительно «средними» сегментами, или кадрами (остальной частью 10–15%). В значительной степени «прогрессивная» политика за последние несколько сотен лет существования исторического капитализма привела к постепенному уменьшению неравного распределения мировой прибавочной стоимости в рамках той небольшой группы, которая участвовала в нем. Триумфальные крики представителей этого «среднего» сектора по поводу сокращения разрыва между ними и верхним 1% скрывали реальность увеличивающегося разрыва между ними и остальными 85%.

Наконец, существует третья причина, почему феномен увеличивающегося разрыва не занял место в центре наших дискуссий. Возможно, за последние 10–20 лет под давлением коллективной мощи антисистемных движений и в силу достижения экономических асимптот произошло замедление абсолютной (хотя и не относительной) поляризации. Впрочем, даже это следует утверждать с осторожностью и рассматривать в контексте пятисотлетнего исторического развития увеличивавшейся абсолютной поляризации.

Крайне важно изучение реальности, в которой развивалась идеология прогресса, поскольку без этого мы не сможем разумно подойти к анализу переходов от одной исторической системы к другой. Теория эволюционного прогресса содержала не только предположение о том, что более поздняя система лучше более ранней, но также и предположение, что некие новые господствующие группы заняли место предыдущей господствующей группы.

Отсюда следовал вывод: не только капитализм был прогрессом по отношению к феодализму, но и этот прогресс был в основном достигнут посредством триумфа — революционного триумфа «буржуазии» по отношению к «земельной аристократии» (или «феодальным элементам»). Однако если капитализм не был прогрессивным, что означает понятие (*concept*) буржуазной революции? Имела ли место одна-единственная (*single*) буржуазная революция или она являлась под многими масками?

Мы уже отметили, что образ исторического капитализма как возникшего в результате того, что прогрессивная буржуазия свергла отсталую аристократию, неверен. Правильный подход заключается в том, что исторический капитализм возник в результате действий земельной аристократии, трансформировавшей себя в буржуазию, поскольку система распадалась. Не позволив распаду бесконтрольно идти к неясному концу, аристократия занялась радикальной социоструктурной хирургией с целью сохранить *и значительно расширить* свои возможности эксплуатировать непосредственных производителей.

Однако если такой новый образ (и подход) верен, то он вносит радикальные исправления и изменения в наше понимание нынешнего перехода от капитализма к социализму, от капиталистической мир-экономики к социальному мир-порядку. До сих пор «пролетарская революция» более или менее моделировалась по образу и подобию «буржуазной революции»: как буржуазия свергла аристократию, так и пролетариат свергнет буржуазию. Эта аналогия являлась краеугольным камнем стратегического действия мирового социалистического движения.

Но если буржуазной революции не было, значит ли это, что не было или не будет пролетарской революции? Вовсе нет — ни логически, ни эмпирически. Однако это значит, что мы должны иначе подходить к самому предмету переходов. Прежде всего мы должны начать отличать изменение путем распада от контролируемого изменения, провести, как это сделал Самир Амин, различие между «упадком» и «революцией», между типом «упадка», который, как он утверждает, происходил при падении Рима (и по его мнению, происходит сейчас), и тем изменением, которое контролируется в большей степени и которое имело место при переходе от феодализма к капитализму.

Однако это не всё, поскольку контролируемые изменения (аминовские «революции») не обязательно должны быть «прогрессивными», как мы только что сказали. Следовательно, мы должны отличать тип структурной трансформации, который не уменьшает (даже увеличивает) эксплуатацию рабочей силы, от такого типа структурной трансформации, который уничтожает данную форму эксплуатации или по крайней мере радикально уменьшает саму эксплуатацию. Это значит, что главный политический вопрос нашего времени заключается не в том, произойдет ли переход от исторического капита-

лизма к чему-то ещё, — последнее настолько ясно, насколько мы вообще можем быть уверены относительно таких вещей. Главный политический вопрос нашего времени заключается в том, будет ли это «что-то ещё», т.е. результат перехода, в моральном плане коренным образом отличаться от того, что мы имеем сейчас, будет ли это прогрессом.

Прогресс не является неизбежным. Мы боремся за него. И форма, которую принимает борьба, — не борьба социализма против капитализма, а борьба за переход к относительно бесклассовому обществу и против перехода к некоему новому, основанному на классовости способу производства (отличному от исторического капитализма, но не обязательно лучшему).

Выбор, стоящий перед мировой буржуазией, — это не выбор между сохранением исторического капитализма и самоубийством. Это выбор между, с одной стороны, «консервативным» подходом, результатом которого стали бы продолжающийся распад системы и порождённое им превращение в неопределённый, но, вероятно, более эгалитарный мировой порядок; с другой стороны, смелой попыткой захватить контроль над процессом перехода, в ходе которой буржуазия сама облачится в «социалистические» одежды и постарается создать тем самым альтернативную историческую систему, способную сохранить процесс эксплуатации мировой рабочей силы к выгоде меньшинства.

Именно в свете этих реальных политических альтернатив, открытых для мировой буржуазии, мы и должны оценивать историю как мирового социалистического движения, так и государств, где социалистические партии пришли к власти в той или иной форме.

Первое и самое важное, что следует помнить при любой оценке подобного рода, — это то, что мировое социалистическое движение, а по сути — все формы антисистемных движений, так же как и все революционные и/или социалистические государства, сами являлись интегральным продуктом исторического капитализма. Они не были внешними по отношению к исторической системе структурами, но продуктом (*excretion*) его внутренних процессов. Поэтому они отражали все противоречия и ограничения системы. Они не могли и не могут быть иными.

Их ошибки, их ограничения, их негативные результаты суть элементы исторического результата, балансового отчёта (*balance-sheet*) исторического капитализма, а не гипотетической исторической системы — ещё не существующего социалистического мир-порядка. Интенсивность эксплуатации рабочей силы в революционных и/или социалистических государствах, отрицание политических свобод, сохранение сексизма и расизма — всё это имеет гораздо больше отношения к тому факту, что эти государства продолжают оставаться в периферийной и полупериферийной зонах капиталистической мир-экономики, чем к свойствам, характерным для новой обще-

ственной системы. Немногие крохи, достававшиеся в условиях исторического капитализма рабочим классам, всегда были сосредоточены в зонах ядра. Эта диспропорциональность существует до сих пор.

Следовательно, оценку как антисистемных движений, так и режимов, к созданию которых они были причастны, нельзя давать с позиций «хороших обществ», которые эти движения создали или не создали. Их оценка зависит от ответа на вопрос, какой вклад они внесли в мировую борьбу за переход от капитализма к эгалитарному социалистическому мир-порядку. Указанная оценка трудна и неясна из-за противоречивого характера самих этих процессов. Все положительные тенденции предполагают наличие отрицательных и в то же время — положительных последствий. Любое ослабление системы в одном отношении укрепляет её в других отношениях, но не обязательно в равной степени! И это очень важно.

Не вызывает сомнения, что наибольший вклад антисистемные движения внесли во время мобилизационных фаз своего существования. Организуя восстание, изменяя сознание, они были силами освобождения; и в этом плане вклад отдельных движений со временем становился всё значительнее, опираясь на механизм обратной связи исторического опыта.

Значительно более скромных результатов добивались антисистемные движения после того, как захватывали власть над государственными структурами. Причина очевидна: возраставшее в геометрической прогрессии давление на эти движения (как изнутри, так и извне) с целью заставить их приглушить антисистемный порыв. Тем не менее это не означало наличия полностью отрицательного баланса для подобного рода «реформизма» и «ревизионизма». Находясь у власти, движения являлись в некоторой степени «политзаключёнными» собственной идеологии, а поэтому оказывались уязвимыми для организованного давления со стороны непосредственных производителей в революционном государстве и со стороны антисистемных движений за его пределами.

Именно сейчас, когда исторический капитализм подходит к своему полному развёртыванию (*unfolding*), для этой системы возникает настоящая опасность — дальнейшее расширение товаризации всего, растущая мощь мировой семьи антисистемных движений, нарастающая рационализация человеческой мысли. Именно это полное развертывание и ускорит падение исторической системы, которая процветала, потому что её логика до сих пор была реализована лишь частично. Именно во время её падения и именно из-за него победившие в сражениях перехода силы будут казаться более привлекательным, чем когда бы то ни было, а *поэтому* результат будет ещё менее определённым. Борьба за свободу, равенство и братство — затяжной, долгий процесс, товарищи, и локус этой борьбы будет всё больше смещаться внутрь мировой семьи самих антисистемных движений.

Коммунизм — это Утопия, что означает: нигде. Это воплощение всех наших религиозных эсхатологий: пришествие Мессии, второе пришествие Христа, нирвана. Это не историческая перспектива, а нынешняя мифология. Социализм, в отличие от этого, является достижимой исторической системой, которая однажды может быть создана в мире. «Социализм», претендующий на то, что он является «вре́менным» моментом перехода к Утопии, не представляет никакого интереса. Интерес представляет конкретный исторический социализм, который соответствует минимуму определяющих характеристик исторической системы, в максимальной степени способствующей развитию равенства и справедливости, и который увеличивает контроль человечества над своей собственной жизнью (демократия) и освобождает воображение.

КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Балансовый отчёт

Современная мир-система, которая является капиталистической мир-экономикой, возникла в «длинном XVI веке» в определённых частях Европы и Америки и к настоящему моменту расширилась настолько, что охватила весь земной шар. Исторический капитализм как историческая система обладает рядом уникальных черт. Одна из них редко удостаивалась надлежащего внимания. Речь идёт о том, что капитализм — это система, которую одни воспевали, а другие энергично осуждали практически с самого начала его существования. Действительно, капитализм просуществовал около трех столетий, прежде чем у него появилось много апологетов и они стали казаться искренними. Я не могу назвать ни одну историческую систему, на которую бы обрушилась столь мощная волна оценок, причём оценок противоречивых, изнутри — со стороны как живущих в ней масс, так и её мыслителей.

Сама идея о том, что внутри системы можно обсуждать балансовый отчёт (*balance sheet*) её добродетелей и пороков, её положительных и отрицательных последствий, — что я и попытаюсь сделать, — вероятно, уникальна для этой системы и в любом случае является одной из её определяющих черт. То, почему лишь эта частная историческая система породила столь продолжительную полемику в обществе, само по себе является вопросом, который заслуживает исследования.

Самая странная часть спора заключается в том, что существуют, вообще говоря, два направления критики, причём они противоречат друг другу. Одни критически бичуют капитализм за то, что он слишком эгалитарен,

слишком подрывает социальный мир и общинную (*communal*) гармонию. Другие критики считают, что исторический капитализм, прикрываясь мифом гармонии всех интересов, является квинтэссенцией неравенства.

Можно было бы говорить о соблазне воспринимать столь противоречащую друг другу критику как знак того, что апологеты капиталистической цивилизации занимают стратегический центр умеренности в противоположность очевидно экстремистским позициям. Можно было бы — если бы апологеты капиталистической цивилизации выдвигали такой аргумент. Однако они этого не делают. Вместо этого, споря со сторонниками добродетелей иерархического гармонического социального порядка, защитники исторического капитализма превозносят его революционные, прогрессивные качества, которые, как они утверждают, разрушают привилегии. Что же касается критиков, рассматривающих капитализм как систему неэгалитарных структур угнетения, то им защитники капитализма возражают следующим образом: капитализм — и в этом его ценность — способен фиксировать и поощрять индивидуальные достижения (*merit*); различное вознаграждение (так сказать, заработанные привилегии) не только желательно, но и неизбежно.

Таким образом, кажется, что как защитники капитализма, так и их оппоненты противоречат себе. Обе стороны — и те, кто осуждает, и те, кто восхваляет капитализм, — занимают одинаково крайние позиции, и никто (или, кажется, по сути никто) не выступает сторонником золотой середины. Это — аномалия, особенно удивительная своей устойчивостью. С какой возможной целью все игроки выстроились таким странным образом? Будто две спортивные команды в одинаковой форме толкутся на одной и той же площадке, образуя замысловатые конфигурации.

Можно ли в таком случае установить счёт? Можно ли составить балансовый отчёт? Я даже не спрашиваю, возможен ли беспристрастный балансовый отчет; я спрашиваю, возможен ли такой отчёт вообще? Думаю, мы не сможем разобраться в этом вопросе до тех пор, пока не выясним причины этой запутанной борьбы и то, как она поддерживается.

Четыре Всадника Апокалипсиса, или базовые потребности

За последние пять тысяч лет человечество создало множество религий. Все они имели по меньшей мере одну фундаментальную черту. Они пытались дать какой-то ответ на ощущаемые материальные беды (*miseries*) мира, какое-то утешение от них. Эти беды хорошо представлены в христианском образе Четырех Всадников Апокалипсиса. Четыре всадника — это война (т.е. между людьми или государствами), гражданская война, голод

и смерть от болезней или диких зверей. Эти четыре беды суть ужасы мира, нарушители спокойствия, удовольствия и удовлетворения.

Религии мира предлагали такое утешение, какое могли, исходя при этом из того, что политического (т.е. мирского) решения этих неизбежных зол не существует. Все эти виды зла неизбежны до тех пор, пока не явится мессия (по крайней мере, согласно некоторым религиям) или не найдется какой-либо иной способ вырваться из истории.

Капиталистическая цивилизация была необычной в том смысле, что она претендовала на выход «из истории» (*beyond history*) внутри самой истории (*within history*) и на то, чтобы решить дилеммы неизбежных бедствий, создать царство Божие на земле, короче, устранить угрозу Четырех Всадников Апокалипсиса. С самого начала апологеты капитализма утверждали, что он как историческая система по меньшей мере удовлетворит «базовые потребности» (если пользоваться терминологией последних десятилетий) всех людей, живущих в пределах этой системы.

Данный аргумент был в известном смысле весьма простым и ясным. Наращивая эффективность производства, капитализм существенно увеличивает коллективное богатство. Даже если это богатство распределено неравномерно, его достаточно для того, чтобы каждый получал больше, чем было возможно в других и предшествующих ему исторических системах. Это называется теорией постепенного распределения благ сверху вниз (*«trickle down theory»*), которая является лишь частной, детализированной формой производственной теории «невидимой руки». Подчеркивая именно эти предполагаемые выигрышные последствия, защитники капиталистической цивилизации не только утверждали, что капиталистическая система отличается от всех других в лучшую сторону, но и одновременно заявляли, что они — единственная «естественная» система.

Какие доказательства представили сторонники этих взглядов? По сути, эти доказательства очевидны. Взгляните, говорят они, на современный мир. Разве он не богаче любого другого из известных нам миров? Разве не поразительны технические достижения? Разве в известном смысле не является каждый отдельный индивид действительно более состоятельным? И в частности, разве не являются те страны, где капитализм был принят и реализован наиболее полно, самыми богатыми и экономически развитыми?

Этот наглядный аргумент уже на протяжении примерно двух столетий является чрезвычайно убедительным для очень значительного числа людей, и поэтому его следует принимать весьма серьёзно. Его сверхдетерминанта — та главная роль, которую играет в историческом капитализме прикладная наука. Опять же, используя наглядное доказательство, апологеты капитализма утверждают: только в рамках исторического капитализма наука и техника по-настоящему процветают, поскольку лишь при этой системе учёные

были освобождены от ограничений, налагавшихся на них в предыдущих системах. А это, в свою очередь, верно, поскольку в конечном счёте прямое и косвенное субсидирование научной деятельности предпринимателями было материально очень прибыльными для этих последних. Попробуем оценить обоснованность указанных аргументов в случае с каждым из Четырех Всадников, взятых в обратном порядке.

Уменьшила ли капиталистическая цивилизация смертность от болезней и диких зверей (со всей очевидностью она не могла полностью устранить её)? Это вопрос здоровья и санитарии в самом широком смысле. В XIV в. Евразия пострадала от Чёрной Смерти. Согласно нашим несовершенным подсчётам, она выкосила около трети населения поражённых зон. Несомненно, это была не первая подобная пандемия в истории мира, но кажется, что она была последней из известных пандемий такого масштаба. Почему? В основном — по двум причинам. Первая — это меры предосторожности на индивидуальном уровне. Медицинское знание достигло такого прогресса, что мы лучше научились и предотвращать начало таких болезней (например, путем прививки), и сводить к минимуму их воздействие в случае заболевания людей. Вторая причина — меры предосторожности на коллективном уровне. Мы научились создавать лучшую среду для здоровья общества, а также средства и методы, которые позволяют предотвращать распространение болезни. (Одним из самых ранних и более примитивных подобных способов являлся карантин — слово, произошедшее от названия сорокадневного изоляционного периода, который налагался на прибывавших в порт Рагуза во время Чёрной Смерти.)

Есть ли какой-либо другой вид наглядного доказательства для внесения в балансовый отчёт? Существуют по меньшей мере три явления, свидетельствующие о противоположном. Во-первых, имели место опустошительные последствия смешения паразитических генофондов именно из-за технического развития транспорта, являвшегося неотъемлемой частью расширения капиталистической мировой экономики. Наилучшим образом это изучено на примере трансокеанических обменов между 1500 и 1700 г., во время и в результате которых весьма значительные сегменты аборигенного населения обеих Америк — намного более трети — были стёрты с лица земли. Подобные явления имели место в Океании и в более отдалённых зонах Африки, Азии и Европы. Во-вторых, медицинские исследования только последних двух десятилетий показывают, как расширилось распространение многих болезней в результате таких изменений природной среды, которые прямо связаны с технико-экономическим развитием — неотъемлемой частью капиталистической цивилизации. В-третьих, вполне возможно, что в ходе глобального демографического роста (и, в известном смысле, из-за него) во всём мире появляются совершенно новые заболевания. Есть некоторые указания

на то, что это могло быть главным фактором в новой эпидемии СПИДа (а также других автоиммунных заболеваний). Таким образом, возможно, мы находимся на пороге новых неожиданных «чёрных смертей» (*plagues*) другого рода.

Как нам сравнить количество жизней, «продлённых» благодаря успехам медицины, с количеством жизней, «никогда не возникших» из-за внезапных обменов паразитами? Последние особенно трудно подсчитать, и, таким образом, сейчас нет надёжного способа провести сравнение. Однако, по крайней мере, мы должны принять во внимание, что такая оценка не может быть простой и односторонней. Ясно, что детская смертность значительно сократилась в промышленно более развитых государствах мир-системы. Кажется, смертность сократилась в XX в. и на Юге, хотя не вполне ясно, это так только в периоды стагнации мир-экономики или это верно лишь для периодов её роста, экспансии. Мы знаем, что в промышленно развитых странах благодаря прогрессу медицины у людей, достигших шестидесятилетнего возраста и старше, больше, чем раньше, шансов выжить после болезней. Эти два изменения — сокращение детской смертности и удлинение жизни тех, кто достиг шестидесяти лет, — в значительной степени, а возможно, и полностью объясняют увеличение средней продолжительности жизни. Однако значительно менее ясно имеют ли те, кто выжил в детстве, больше, чем прежде, возможностей дожить до шестидесяти лет. И конечно же, неясно, не изменят ли новые болезни даже общие цифры. Однако в порядке рабочей гипотезы мы можем приписать капиталистической цивилизации положительные, хотя и географически очень неравномерные, результаты в борьбе против болезней.

Что по поводу борьбы с голодом? Является ли голод сегодня меньшей угрозой, чем в прошлом? В досовременную эпоху главной проблемой для человечества были краткосрочные изменения погоды, ежегодно влиявшие на производство. При слабости транспортных систем, ограниченном запасе продовольствия и повсеместной редкости наличия денежных запасов у отдельных лиц любое значительное сокращение запаса основных продовольственных продуктов на местном уровне немедленно порождало серьёзные проблемы. Сегодня технический прогресс в значительной степени защитил многие части мира (а возможно, большинство) от предсказуемых краткосрочных капризов погоды.

Но как обстоит дело со среднесрочными изменениями условий природной среды? Те самые технические успехи, которые позволили нам успешно вторгнуться (в краткосрочной перспективе) в биосферу, нанесли ей ущерб в среднесрочной перспективе. Обезлесение, опустынивание саванны — всё это означает разрушение жизни людей и сокращение их долгосрочных запасов продовольствия. Мы ещё не в состоянии в полной мере оценить ущерб, на-

несённый химическо-биологическим загрязнением, усилившимся в XX в. Если озоновый слой ещё больше истончится, ущерб для жизни (прямой и посредством воздействия на запасы продовольствия) может быть огромным.

Таким образом, с одной стороны, произошло значительное расширение общего производства и продуктивности производства продовольствия, а с другой стороны, имеет место чрезвычайно перекошенная система распределения, которая заменяет среднесрочные угрозы краткосрочными для большинства мирового населения, особенно для его нижних 50–80%.

А как обстоит дело с гражданской войной? Уменьшилась ли её угроза? Я включаю в данную категорию все виды межгруппового насилия, которые формально не являются войной между двумя географически отличными друг от друга государствами (народами) или восстанием населения завоеванной территории против имперского правления. В известном смысле можно утверждать, что «гражданская война» — это изобретение капиталистической мир-экономики. Она есть продукт сложных взаимоотношений между конструкцией «народ» и конструкцией «государство» в системе, для которой характерно существование в городских зонах крайне высокой степени смешения и тесных контактов групп, социально определяемых как различные «народы». Это происходит не случайно, а в результате процесса внутреннего структурирования капиталистической мир-экономики.

Для своего оптимального функционирования капиталистическая мир-экономика требует широкомасштабной и непрерывной миграции людей (как насильственной, так и добровольной). Именно так удовлетворяется потребность капитала в рабочей силе в определённых географических районах. Одновременно с этим идёт процесс этнизации мировой рабочей силы, так что в любом данном месте население рассматривается как представленное различными этническими группами (неважно, чтó считается показателем такой этничности: цвет кожи, язык, религия или какой-либо другой конструкт культуры). Как правило, всегда существует тенденция к высокой степени корреляции между их локально определённой этнической стратой и их профессиональным или классовым положением. Конечно, детали определения этнических границ, а также того, какая этническая группа соотносится с какой профессиональной стратой, постоянно меняются, но принцип стратификации продолжает сохраняться в качестве устойчивой черты капиталистической мир-экономики. Это способствует сокращению общих издержек труда и помогает «держать» удары, направленные на делегитимацию государственных структур.

Если смотреть с точки зрения любого балансового отсчёта, то указанный процесс этнизации имеет обратную сторону. Он создаёт структурное основание для непрекращающейся борьбы как между высшими и низшими этническими стратами, так и между этническими стратами на низшем уровне.

Эта борьба обостряется, как только происходит циклический спад в мир-экономике, — эти спады занимают половину всей её истории. Эта борьба часто принимает насильственные формы, от мелких бунтов до вспышек массового геноцида.

Главное заключается в том, что этнизация мировой рабочей силы потребовала создания идеологии расизма, согласно которой крупные сегменты мирового населения определяются как низшие классы (*underclasses*), как низшие существа, а следовательно, в конечном счёте как заслуживающие любой участи, которая им выпадает по ходу непосредственной политической и социальной борьбы. Этих «гражданских войн» не стало меньше со временем, а, скорее, наоборот, в XX в. они стали более жестокими и смертоносными. Это очень большой минус в балансовом отчёте нашей нынешней мир-системы.

Теперь — о войне в строгом смысле этого слова. Кажется, что войны между государствами и/или народами происходили во всех исторических системах на протяжении всего времени, о котором у нас есть письменные свидетельства. Совершенно ясно, что война не является феноменом, присущим лишь современной мир-системе. В то же время технические достижения капиталистической цивилизации служат злу в такой же степени, как и добру. От одной бомбы в Хиросиме погибло больше людей, чем за одну войну досовременного типа. Весь поход Александра Великого по Ближнему Востоку не может сравниться по разрушительности с воздействием на Ирак и Кувейт войны в Заливе.

Наконец, мы должны отдавать себе полный отчёт о материальной поляризации мир-системы. Общий объём материального богатства вырос в огромной степени, если под материальным богатством понимать все товаризированные и поддающиеся товаризации объекты, даже если этот экономический «рост» происходит за счёт значительного исчерпания некоторых видов природного сырья. И эта прибавочная стоимость распределяется среди гораздо большего процента населения, чем в любой предыдущей исторической системе. До 1500 г. в различных исторических системах почти всегда был богатый или более богатый слой. Однако до 1500 г. численность этого слоя была крайне невелика. Символически мы можем говорить об 1% населения, хотя в некоторых случаях процент мог быть и выше.

В капиталистической цивилизации число тех, кто делит между собой прибавочную стоимость, гораздо больше. Эту группу называют средними классами. Они представляют собой значительную по численности страту. Однако было бы серьёзной ошибкой преувеличивать их численность. Эта группа во всём мире, вероятно, никогда не превышала седьмой части мирового населения. Конечно, многие из этих «средних слоёв» сконцентрированы в определённых географических зонах, и, таким образом, в странах ядра капиталистической мир-экономики они могут составлять большинство

граждан. Действительно, высокая концентрация средней страты в политических границах одного государства является сегодня определяющей чертой зон ядра. Однако во всемирном масштабе их доля значительно ниже. Возможно, 85% населения капиталистической мир-экономики явно живёт не в лучших условиях, чем трудящееся население мира 500–1000 лет назад; на самом деле, можно утверждать, что многие, даже большинство из них материально живут хуже. В любом случае они, несомненно, работают гораздо интенсивнее для того, чтобы просто едва сводить концы с концами; рацион их питания, возможно, уменьшился, но, безусловно, они покупают больше.

Итак, победила ли капиталистическая цивилизация Четырёх Всадников Апокалипсиса? В лучшем случае, лишь частично, да и то — весьма неравномерно. Впрочем, до сих пор мы обсуждали эту проблему в количественном плане. Однако мы должны рассмотреть и качественную сторону дела. Речь идёт обо всех проблемах, которые обычно фигурируют в рубрике «качество жизни».

Качество индивидуальной жизни

Первая проблема — это качество материальной жизни. Речь идет об удобстве и разнообразии потребления сверх «базовых потребностей» выживания. Здесь мы имеем противоречивую картину. Наше «общество потребления» XX в., конечно, является функцией науки и её техники (*gadgetry*). У нас есть то, что не снилось людям цивилизаций прошлого: электричество, телефон, радио и телевидение, домашний водопровод, холодильники и кондиционеры, автомобили; это если говорить только о наиболее очевидном и самом распространённом на сегодняшний день. В 1500 г. даже книга была исключительной роскошью.

И в то же время опять-таки мы знаем, что распределение всего этого является чрезвычайно неравномерным. Большинство американских, но крайне мало китайских или индийских семей имеют машину; правда, большинство китайских или индийских семей могут иметь доступ к радио, хотя бы как к коллективной собственности деревни. В абсолютном измерении представители беднейшей страты, вероятно, обладают бóльшим количеством этих устройств, чем их предки, даже если относительный разрыв между низом и верхом не только огромен, но и увеличивается. Однако вовсе не очевидно, что абсолютная кривая является восходящей линией. Мы вполне могли достичь высшей точки кривой для нижних 50–80%, теперь абсолютная кривая для них может вновь поползти вниз. Ситуация оказывается ещё хуже, когда мы обращаемся к одному из самых замечательных изобретений капиталистической цивилизации — туризму.

Ни для одной исторической системе прошлого не было характерно, чтобы люди, даже богатые и могущественные, тратили ту часть своего времени, когда они не заняты приносящей доход работой, на путешествия, наблюдения и наслаждения, не являющиеся элементом их модели обычной повседневной жизни. То, что возникло в раннесовременную эпоху как вид спорта горстки аристократов, в конце XX в. стало обычным занятием мировой средней страты. Это, конечно, стало возможным благодаря всё тем же техническим успехам. Однако обратим внимание на две вещи. Самое большее, 5–10% мирового населения может хоть раз отправиться в туристическую поездку. Но даже этот незначительный процент вызвал столь серьёзное напряжение возможностей объектов туризма нести связанное с ним бремя хищнического опустошения, что само существование объектов туризма высшего качества оказалось под угрозой. Туризм крайне разрушителен, если происходит перегрузка. Сегодня перегрузка налицо, и это притом, что 80% мирового населения по-прежнему исключено из туризма. Если бы численность туристов в мире росла, то охрану туристических мест могла бы обеспечить только какая-нибудь формальная нормирующая система, и при этом преимущества, обеспечиваемые историческим капитализмом на индивидуальном уровне заметно сократились бы.

Спор об удобстве и разнообразии индивидуального удовлетворения материальных запросов — главный источник противоречивых оценок. Критики капиталистической цивилизации указывают на зияющий разрыв между тем, что доступно седьмой части мирового населения, и жизнью в городских трущобах и в сельских зонах бедности в мире. Контраст резок, даже ужасающ. Защитники капиталистической цивилизации утверждают, что разрыв всего лишь относителен и что в абсолютном измерении мировая беднота менее бедна, чем 500 лет назад. Свидетельство абсолютного разрыва, как я говорил, само является предметом эмпирического спора. Моральный вопрос заключается в том, приемлем ли даже относительный растущий разрыв. Ответ защитников капитализма заключается в том, что разрыв, кажется, больше не растёт и вскоре вообще может сократиться.

Защитники капиталистической цивилизации утверждают, что даже если картина индивидуального комфорта и разнообразия потребления противоречива, капиталистическая цивилизация создала бесспорное благо — распространение в геометрической прогрессии мировых образовательных институтов. Это распространение, утверждают они, позволило всем людям лучше осознать свои возможности, а некоторым — преодолеть классовые барьеры с помощью демонстрации своих способностей.

Сама концепция универсального формального образования — это продукт (причём относительно поздний) капиталистической мир-экономики. Шла постоянная экспансия образовательных институтов: время, которое

учащиеся должны проводить в школе, становилось более продолжительным, а сами школы — более доступными для различных групп мирового населения. Эта экспансия длится уже около двух столетий и особенно ускорилась после 1945 г. Сегодня фактически не существует политической юрисдикции, в которой начальное образование является недоступным — по крайней мере в теории — для всех мальчиков, а в большинстве юрисдикций и для девочек. Одновременно происходит экспансия (хотя и менее масштабная) среднего и высшего образования. Утверждают, что рост образования облегчает доступ к высшим уровням полной занятости. То есть существует высокая степень корреляции между годами, потраченными на образование, и заработком. Однако в абсолютном плане это утверждение весьма сомнительно. Рост возможностей для образования имел своим прямым результатом рост образовательных требований к конкретным профессиям. Поэтому человек, окончивший начальную школу в 1990 г., может подходить для той же самой работы, что и человек без формального образования в 1890 г.

Одним из важных последствий растущих образовательных институтов является изъятие в дневные часы целых возрастных групп как из домашнего хозяйства, так и из рабочих мест вне дома. Целые возрастные группы больше не зарабатывают для своих домашних хозяйств, а наоборот, на их содержание уходит значительная часть дохода домашнего хозяйства, даже если школьное обучение отсутствует. Таким образом, домашние хозяйства обязаны вкладывать средства в то, что несколько напыщенно назвали «человеческим капиталом». Превышают ли преимущества, обеспечиваемые системой образования, издержки большинства домашних хозяйств в мир-системе?

Второе главное последствие всеобщего образования — это развитие концепции и индивидуальной реальности множества «этапов жизни» и фиксация внимания на них. В прежних исторических системах жизнь человека была целостным длительным периодом работы и участия в общественной жизни, ограниченным, с одной стороны, кратким периодом полной зависимости в начале, с другой — кратким периодом (если до него вообще доживали) относительно высокой степени зависимости в конце. Теперь же мы проживаем относительно долгий период в качестве частично зависимых неработающих детей. Это долгое детство стали делить на единицы в соответствии со школьной системой: раннее детство для детского сада, собственно детство для начальной школы, юность для средней школы и поздняя юность для университетского образования, теперь дополненная ранним совершеннолетием для продвинутого университетского обучения и/или первых лет работы, занимающей полный рабочий день. Это деление сохраняется и в последующих возрастных группах: зрелая взрослость, «третий возраст», а сейчас ещё и «четвёртый возраст». Содержание ролевого распределения со-

циальных ролей в период зрелой взрослости, конечно, было различным в большей степени для женщин, чем для мужчин.

Большим плюсом социальной дифференциации жизни на множество сегментов называют специализированное внимание и адаптацию как факторы человеческой самореализации, которую эта дифференциация делает возможной. Несомненно, в какой-то степени это верно. Однако следует заметить, что названный выше плюс приходит не один, а с довольно большим минусом: исключением из полноценного участия во власти и получении материальных благ всех тех, кто оказывается за пределами той уменьшающейся временной зоны, которая является теперь мужской зрелой взрослостью. Под прикрытием эгалитарного, общего для всех продвижения по этапам жизни мы построили весьма жёсткую криволинейную возрастную иерархию, возможно, намного более логичную и завершённую, чем менее сложные возрастные иерархии исторических систем прошлого.

Основной вопрос тем не менее заключается в том, является ли, и если да, то в какой степени, современное образование по-настоящему образовательным (*educational*)? Помня этимологические корни слова «образование», мы ставим вопрос: в какой-то степени оно «вывело людей из» (*educere*) незнания, расширило их горизонты. Господствует мнение о том, что локальное, основанное на домашней жизни приобщение к знаниям и ценностям по сути ограниченно, в то время как формальное образование предлагает грамотность, умение считать, эмпирические знания и аналитические способности, позволяющие их получателям выйти за свои ограниченные пределы и приобщиться к некоторому универсальному знанию о человеческом потенциале вообще и их собственном в частности.

Тем не менее в течение всего времени существования широко распространённого формального образования были критики, говорившие о «неудачах» каждой отдельной местной или национальной его разновидности. Критики всегда утверждали, что именно эта функция «вывода людей из» традиционно ограниченного (*parochial*) вúдения в некое более широкое вúдение (одни называют это истиной, другие — чувствительностью к разнообразию) фактически не реализовалась. Как доказать, что она действительно имела место? Образование, конечно, не уменьшило такое явление как «гражданская война», а на самом деле увеличило его; оно вообще возможно является главным источником её подпитки. В той степени, в какой произошло более полное раскрытие индивидуального потенциала при историческом капитализма, оно вполне может быть следствием увеличения географической мобильности и роста образования.

Большинство родителей рассматривают образование как насущную и очень быстро усиливающуюся экономическую необходимость для своих детей, чтобы не отстать от продолжающегося роста формальных образователь-

ных требований для поступления на работу. Однако большинство тех, кто посещает школу, рассматривают её как бремя, как нечто исключающее их из мира работы. Можем ли мы быть абсолютно уверены, что чувства и оценки детей так уж иррациональны?

Качество коллективной жизни

В конструкции нашей общественной жизни есть две высшие добродетели, которые защитники капиталистической цивилизации называют её достижениями или — по меньшей мере — её обещаниями: универсализм и демократия. Однако критики опять же утверждают прямо противоположное. В качестве высшего порока капиталистической цивилизации они указывают на отсутствие именно этих феноменов. Как и в других частях балансового отчёта, суждение зависит от того, кого и что измеряют. Что такое универсализм? У него много различных значений (*domains*). Универсализм — это утверждение о том, что существуют истины, которые являются рациональными, объективными и вечными — поэтому они универсальны. Сегодня мы называем это наукой. Универсализм — это также утверждение о том, что существует некое естественное право, определяющее универсальную этику, а следовательно, и некоторые социальные практики, которые всё должны принять и следовать им. Сегодня мы называем это правами человека. Универсализм — это также вера в то, что существуют объективные стандарты компетентности, которые определяют подходящее распределение позиций в сфере рабочей силы. Сегодня мы называем это меритократией. Именно это универсалистское трио науки, прав человека и меритократии является гордостью защитников капиталистической цивилизации. Понятно, почему делается такой акцент на науке, почему наука стала фактически светской религией, — её истины открываются простым смертным её жрецами, которые монопольно обладают настоящим доступом к универсальному знанию. Ведь современная наука — это фундамент современной техники, а именно ей приписывают решающую роль в обеспечении того, что сегодня в мире удовлетворены базовые потребности человечества и в то же время улучшено качество индивидуальной жизни. Эта вера в науку отражает (именно отражает, а не является основой) уверенность в бесконечно расширяющихся возможностях капиталистического накопления.

Вúдение науки как неумолимого движения к формулированию универсальных законов (мы можем назвать это бэконовско-ньютоновским восприятием науки) господствует уже около пятисот лет. Однако в конце XIX в. такому представлению о науке был брошен серьёзный вызов в самом научном сообществе, который особенно набрал силу в последние двадцать лет. Этот

вызов принял форму «новой науки» с её концепциями нормальности как хаоса, открытых систем, далёких от равновесия, а также распространённости диссипативных структур, которые ведут к бифуркациям и развиваются по сути в непредсказуемых (но тем не менее организованных) направлениях.

Среди вопросов, которые поднимает «новая наука» для нашего балансового отчета наиболее важны следующие: какие научные вопросы не задавались в течение пятисот лет, и кто решал и решил, какой научный риск обоснован, каковы были последствия этих решений с точки зрения властных структур мира?

Например, наши нынешние экологические проблемы, которые суть прямой результат экстернализации издержек капиталистами-предпринимателями. Возникает вопрос: а нельзя ли было их избежать или сделать менее острыми, если бы когда-то холистский, целостный подход победил и занял бы место нынешнего? В таком случае центральное место в анализе заняло бы изучение диссипативных структур и неизбежных бифуркаций; при господствующем ныне подходе системные проблемы такого рода вытесняются в категорию внешних препятствий, в принципе поддающихся техническому решению; при этом предполагается, что линейные тренды будут продолжаться, как и прежде.

Задать вопрос — значит ответить на него, поскольку это наводит на мысль, что так называемая универсальная и универсалистская наука является и ограниченной, и партикуляристской, хотя её представители утверждают противоположное. Теперь, если нам предстоит составлять балансовый отчёт о её достижениях, мы должны учитывать не только технику, которую она позволила создать, но и альтернативы, которые она пропустила или упустила. Мы должны перечислить не только заслуги, но и просчёты. Ближайшие тридцать лет научной деятельности могут позволить нам дать более трезвую оценку последних пятисот лет.

Если не истина, то по меньшей мере свобода? Разве капиталистическая цивилизация не обеспечила миру первое цветение универсализующей модели свободы? Разве сама концепция правового и морального приоритета прав человека — не изобретение современного мира? Несомненно, да. С точки зрения универсальной применимости ориентации на посюсторонний мир язык неотъемлемых прав человека представлял собой значительный шаг за рамки использовавшегося до этого языка мировых религий. Капиталистической цивилизации вполне можно приписать легитимацию такого языка и его распространение.

И всё же мы знаем, что прав человека существенно не хватает в реальной мировой практике. Правда, исторические системы прошлого очень мало претендовали на соблюдение прав человека. Сегодня все политические целостности претендуют на то, что они — защитники прав человека. Однако

Amnesty International без труда составляет длинные списки их нарушителей повсюду в мире. Является ли провозглашение прав человека чем-то большим, чем лицемерное почтение, оказываемое пороком добродетели?

Одним из аргументов здесь может быть то, что права человека лучше соблюдаются в одних частях мира по сравнению с другими. Несомненно, это так, хотя даже в странах, где это не является проблемой, всё ещё существуют целые внутренние зоны и страты населения, где права человека регулярно нарушаются. Печально известен факт, что мировые мигранты, которые являются растущей, а не сокращающейся частью мирового населения в нашей нынешней мир-системе, лишены таких прав человека.

Но если мы даже признаем, что можем продемонстрировать шкалу соблюдения прав человека, в которой существуют лучшие и худшие места, то что тогда это доказывает? Ведь легко увидеть, что существует взаимосвязь между более богатыми и могущественными государствами и меньшим (или менее очевидным) количеством нарушений — и между более бедными и слабыми государствами и более грубыми нарушениями. Можно использовать эту корреляцию для аргументации в пользу двух противоположных точек зрения. Одним она доказывает, что чем более «капиталистическим» является государство, тем более принимаются в расчёт права человека, и наоборот. Однако для других она является ещё одним доказательством концентрации преимуществ в одной зоне мир-системы, а её негативных следствий — в другой зоне, и это само по себе рассматривается как результат исторического капитализма, в котором права человека — не универсальная ценность, а именно награда-привилегия.

Когда ставятся под сомнение и универсальная наука, и универсальные права человека, защитники капитализма часто прибегают к своему сильнейшему аргументу — универсальному распределению позиций и возможностей, или меритократии. Согласно мифологии капиталистической цивилизации во всех предыдущих исторических системах положение людей определялось их происхождением, только в историческом капитализме происходит распределение по заслугам — «открытая талантам карьера», провозглашённая французской революцией.

И опять следует соблюдать осторожность при сравнении мифа и реальности. Неверно, что предыдущим историческим системам индивидуальное социальное продвижение было неизвестно. Оно существовало всегда, иначе как бы происходили постоянные и повсеместные (в значительной степени с помощью военной доблести) чистки аристократии? И религиозные структуры тоже всегда включали социальное продвижение в соответствии с заслугами, в данном случае — с помощью невоенных достижений. Действительно, даже путь наверх с помощью рынка был широко распространённым, если не всеобщим.

На самом деле у капиталистической цивилизации есть два отличия от других. Во-первых, меритократия была официально провозглашена добродетелью, тогда как раньше она существовала *de facto*, культура была другой. И во-вторых, увеличился процент мирового населения, для которого такой путь наверх стал возможен. Впрочем, несмотря на то, что он увеличился, меритократическая мобильность в огромной степени остаётся возможностью лишь для меньшинства, поскольку меритократия — это ложный универсализм. Он провозглашает универсальную возможность, которая по определению имеет реальное значение только если она неуниверсальна. Меритократия внутренне элитарна (*is intrinsically elitist*).

Кроме того, мы должны исследовать степень, в какой степени институты, воплощающие меритократию на практике, действительно обеспечивают принятие решения на основании заслуг (*merit*). Это возвращает нас к вопросу о функционировании структур образования. Действительно ли они осуществляют совершенный отбор на основании заслуг? Конечно, они способны количественно определять заслуги. Однако поскольку определение, о котором идет речь, происходит на местном уровне, проводят его местные люди на основе местных (локальных) критериев, эти оценки едва ли можно сравнивать. Самое большее, что можно сказать о меритократической оценке, это следующее. С её помощью можно легко определить небольшую группу совершенно исключительных людей и также небольшую группу совершенно некомпетентных людей, оставляя между ними очень большую группу, в которой процесс оценки не даёт сколько-нибудь надежного способа выбора. Однако с точки зрения структуры вакансий, в которой высокооплачиваемые должности могут быть предложены максимум четверти от той 80%-ной группы лиц средней компетентности, ясно, что выбор должен быть сделан, и совершенно очевидно, что здесь решающую роль играет вторжение критерия социального положения семьи. Институционализированная меритократическая система помогает немногим занять то высокое положение, которого они заслуживают и доступ к которому в другой ситуации был бы для них закрыт. Однако в то же время ещё большему числу людей эта система помогает достичь высокого положения благодаря их высокому социальному статусу, создавая при этом впечатление, что всё происходит благодаря личным достижениям, способностям и т.д.

Второй главной добродетелью, которую ставит себе в заслугу капиталистическая цивилизация, является то, что она выпестовала демократию и позволила ей расцвести. Определим демократию просто как максимальное увеличение участия в принятии решений на всех уровнях на основе равенства. Таким образом, принцип «один человек — один голос» стал символом демократической государственной структуры, даже если учесть, что сам по себе этот принцип — лишь первый шаг на пути к демократическому участию.

Главным стимулом (*drive*) для демократии является эгалитаризм. Контрстимулов — два: привилегии и компетентность; результатом реализации обоих является иерархия.

Существование не одного, а двух контрстимулов в значительной степени объясняет ту глубокую пропасть, которая существует в интерпретации реальности. Защитники капиталистической цивилизации утверждают, что она была первой исторической системой, покончившей с иерархией привилегий. Конечно, добавляют они, иерархия, основанная на компетентности (*competent performance*), существовала, и её надо поддерживать. Например, ребёнку нельзя позволить вести себя на равных с родителем.

Критики капиталистической цивилизации обвиняют её в обмане. Они заявляют, что под маской компетентности скрывается иерархия, основанная на привилегиях, и что иерархия, легитимность которой ограничена небольшим числом социальных ситуаций, широко и не к месту применяется к намного более широкому набору ситуаций на работе (*in work*) и в обществе (*community*), т.е. там, где на самом деле должны господствовать демократические (т.е. эгалитарные) нормы. Здесь мы видим связь между спором о меритократии и спором о демократии.

Если нам предстоит составить балансовый отчёт исторического капитализма, мы должны принять во внимание все существующие в мир-системе социальные арены, оценить каждую в том плане, насколько в ней иерархия принятия решений действительно оправдана или не оправдана с точки зрения потребности в компетентности (в противоположность нуждам привилегий), а затем суммировать эти оценки, касающиеся нашей нынешней мир-системы, и провести целостное сравнение с аналогичными оценками предыдущих исторических систем. Это обескураживающая задача. Главным аргументом в пользу тезиса о большей демократии исторического капитализма является распространение систем политического голосования. Конечно, оценка формального избирательного права, как имеющего важное значение, часто вызывает скепсис. Однако даже если забыть об этом, то главный аргумент против тезиса о демократизации как достижении капиталистической цивилизации — это упадок коммунитарных (*communitarian*) институтов в современном мире одновременно с подъёмом избирательных систем. Утверждают: то, что стало победой на одном поле, означало намного большую утрату на другом.

Это подводит нас к спору об отчуждении. Именно по этому пункту объединяются консервативные и радикальные критики капиталистической цивилизации. Отчуждение — это противоположность реализации потенциала, уже отмеченный постулат о добродетельности формального образования. Отчуждение связано с теми способами, посредством которых нас отчуждают от самих себя, от нашей «истинной природы», наконец, по сути — от наше-

го потенциала. И консервативная, и радикальная критика капиталистической цивилизации главное внимание уделяют вопросу, в какой степени товаризация — в частности, рабочей силы, хотя не только её — является дегуманизирующим фактором.

Для защитников капиталистической цивилизации критика, связанная с товаризацией и отчуждением — нечто из области мистики, и всё это не может сравниться с реальными материальными преимуществами, обеспечиваемыми современным миром. Они сомневаются, что можно сколько-нибудь серьёзным образом операционализировать понятие отчуждения. Однако критики считают это понятие легко поддающимся конкретизации. Они указывают на многочисленные формы глубокого психического и социопсихологического нездоровья современного мира. И опять-таки мы сталкиваемся с тем, что наша система измерения слаба. Мы знаем о безумии нашей собственной исторической системы, мы имеем довольно слабое представление о безумиях других исторических систем. Мы плохо оснащены, чтобы сравнивать их. Тем не менее можно утверждать три вещи. Во-первых, безумия или, если угодно, формы нездоровья нашей системы многочисленны. Во-вторых, можно доказуемо наличие некоторых явных связей между этими психическими проблемами и специфическими социальными структурами нашей исторической системы. В-третьих, представляется, что рост психических проблем увеличился в ходе развития нашей системы. Впрочем, возможно это только кажется. Указанный рост, возможно, есть просто результат более тщательного социального мониторинга реальности — например, беспорядочного городского насилия. Но какая-то часть фиксируемого роста кажется поддающейся надежному измерению — например, наркомания.

Мы также не должны забывать о деревьях, о природе. Природные красоты физического мира — это часть того, что доставляет человеку удовольствие. Товаризация неизбежно привела к массовому уничтожению этих природных красот. Конечно, были созданы другие красоты. Возможно, они лучше. Однако сами альтернативные красоты товаризованы и вследствие этого доступ к ним зрителей менее демократичен, чем ранее к природе. Искусственные красоты доступны в основном меньшинству.

Cui bono и зачем спорить?

Теперь мы можем обратиться к балансовому отчёту. Да, таковой, по крайней мере в качественном плане, можно представить. Из обзора аргументов ясно, что картина неоднозначна. Есть ли тем не менее какой-то глубоко залегающий фундамент, на основе которого можно суммировать все «за» и «против»? Думаю, есть. Я исхожу из того, что все известные

исторические системы были воплощением иерархии привилегий. Золотого века не было никогда. Таким образом, вопрос заключается в выборе не между хорошими и плохими историческими системами, а между более лучшими и худшими. Является ли капиталистическая цивилизация лучшей или худшей, чем предыдущие исторические системы? (Я оставляю сейчас в стороне вопрос о том, могли бы будущие исторические системы быть лучше или хуже или будут лучше или хуже.)

Мне кажется, что единственный уместный вопрос — *cui bono*? Ясно, что доля привилегированных страт по отношению к целому значительно выросла при историческом капитализме. И для этих людей известный им мир в целом лучше, чем любой из миров, известный их предшественникам. Они, конечно, живут лучше материально, а также в плане здоровья, жизненных возможностей и свободы от произвольных ограничений, налагаемых численно небольшими правящими группами. Живут ли они лучше физически — вопрос, открытый для многих, но, возможно, они живут не хуже.

Однако мир другого конца спектра — 50–85% мирового населения, которые не являются обладателями привилегий, — почти наверное хуже любого их тех, которые знали их предшественники. С большой долей уверенности можно сказать, что материально они живут хуже, несмотря на технические изменения. С сущностной — в противоположность формальной — точки зрения они более, а не менее подвержены произвольным ограничениям, поскольку механизмы центра мир-системы глубже проникают и более эффективны. И на эти 50–80% приходится главный удар разнообразных видов психического нездоровья и разрушительных результатов «гражданских войн».

Мир капиталистической цивилизации — это поляризованный и поляризующийся мир. Как же тогда он сохранился так долго? Именно здесь начинается общественный спор о балансовом отчёте. На длительное сохранение системы работает надежда на растущий реформизм, на наведение в конце концов моста над социальной пропастью. Сам спор питал эту надежду в двух направлениях. Утверждение о добродетелях служит для того, чтобы убедить многих в долгосрочных выгодах системы. А обсуждение пороков заставляет многих почувствовать, что они в связи с этим могут эффективно самоорганизоваться, чтобы изменить ситуацию политическим путем. Капиталистическая цивилизация является не только успешной. Помимо всего, она является соблазнительной цивилизацией. Она соблазняла даже свои жертвы и своих противников.

Однако если вы, как я, считаете, что все без исключения исторические системы обладают ограниченным сроком жизни и в конце концов должны уступить место другим, системам-преемницам, то следует допустить, что наша мир-система не может оставаться устойчивой всегда. К этой теме — будущим перспективам капиталистической цивилизации — мы и перейдём.

Перспективы на будущее

Капиталистическая цивилизация вступила в свою осень. Осень, как мы знаем, — чудесное время года, по крайней мере в тех регионах, где родилась капиталистическая цивилизация. После первого цветения весны, после полного богатства лета осенью мы собираем урожай. Однако так же верно, что осенью с деревьев опадают листья. И хотя мы знаем, что в осени есть много приятного, мы знаем и то, что должны готовиться к зимнему морозу, к концу цикла, как и к концу исторической системы.

Если мы хотим понять, как система подходит к своему концу, то должны взглянуть на её противоречия, так как все исторические системы (вообще все системы) имеют имманентные им противоречия, поэтому их жизнь ограниченна. Я хочу проанализировать три основных противоречия, возрастающее напряжение которых определяет будущие перспективы исторического капитализма. Это дилемма накопления, дилемма политической легитимации и дилемма геокультурной повестки дня (*agenda*). Каждая дилемма присутствовала в системе с самого её начала; каждая подошла к точке, в которой противоречие уже нельзя сдерживать, т.е. к точке, где необходимые для дальнейшего нормального функционирования системы регулирующие изменения будут так дорого стоить, что не смогут обеспечить системе даже временное равновесие.

Дилемма накопления

Бесконечное накопление капитала — *raison d'être* и главная форма деятельности капиталистической цивилизации. Мы уже видели, просматривая балансовый отчёт, что его успех (положительный баланс) — один из предметов гордости этой цивилизации и одно из её оправданий. Однако что является её противоречием, её дилеммой?

Главное противоречие (*strain*) заключается в том, что максимальное увеличение прибыли и, следовательно, накопление требуют достижения относительных монополий на производство. Чем выше степень монополизации, тем значительнее возможность получения большого разрыва между общими производственными издержками и эффективными сбытовыми ценами. Поэтому все капиталисты стремятся к монополизации. Однако высокие прибы-

ли привлекательны, и конкуренты всегда будут стремиться выйти на рынок, где их можно получить. Поэтому монополии провоцируют конкуренцию, которая подрывает одновременно и монополии, и высокие прибыли. Но каждый раз, когда источники высоких прибылей истощаются, капиталисты (в одиночку и коллективно) ищут новые источники высоких прибылей, т.е. новые пути монополизации секторов производства. Это напряжение (*tension*) между необходимостью в монополизации и её саморазрушительным характером объясняет циклическую природу капиталистической экономической деятельности и лежащее в её основе осевое разделение труда между ядровыми продуктами (высокомонополизированными) и периферийными продуктами (высококонкурентными) в капиталистической мир-экономике.

Экономические монополии никогда не обеспечиваются на рынке и посредством него. Рынки по сути своей антимонопольны. Преимущество одного производителя над другими всегда носит временный характер, поскольку другие производители могут копировать и копируют элементы, обеспечившие тому или иному производителю его преимущество. Это продиктовано необходимостью для всех производителей выживать в борьбе за то, чтобы стать локусом накопления. Значительного и долгосрочного накопления никогда невозможно добиться с помощью рыночных механизмов. Поэтому, чтобы добиться успеха, все производители должны выходить за пределы рынка. Они обращаются к двум институтам: к государству, которое является вполне конкретным институтом, и к «обычаю», довольно аморфному, но тем не менее реальному в качестве института.

Что могут сделать государства для производителей? В основном две вещи. Они могут создать условия, ведущие к монополизации продаж. И они могут создать условия, ведущие к монопсонизации[1] покупки факторов производства. Простейший путь осуществить это — формальное законодательство. Однако у формального законодательства есть два ограничения. Одно заключается в том, что закон применяется лишь в пределах устанавливающего его государства, в то время как реальный рынок существует в мир-экономике в целом. Второе заключается в том, что государство подвергается со многих сторон политическому давлению, цели которого — предотвратить подобное законодательство. Речь идет о давлении со стороны предпринимателей, которые оказываются вне игры, и со стороны всех тех непроизводящих групп, экономическое положение которых страдает от такого законодательства. По этим причинам полный законодательный путь редко удаётся пройти. Когда его всё же проходят, как в случае с так называемыми (теперь в основном бывшими) социалистическими странами, он показывает свою неэффективность в качестве механизма долгосрочного накопления капитала. Более ча-

---

[1] Монопсония — монополия одного покупателя (*прим. ред.*).

стый путь — избирательное и часто непрямое вторжение государств на рынок. Во-первых, они вторгаются туда прежде всего как государства по отношению к другим государствам и особенно как сильные государства по отношению к более слабым, чем навязывают свой предпочтительный доступ на их рынки и, самое важное, преодолевают их сопротивление этому, одновременно затрудняя в более слабых странах эффективные действия своих конкурентов. Во-вторых, они осуществляют «рыночное вторжение» с помощью своих бюджетных, фискальных и перераспределительных решений, принятых в пользу некоторых группы производителей и направленных против любых их конкурентов. В-третьих, они вторгаются, препятствуя продавцам факторов производства (особенно рабочей силы) бороться против монопсонических позиций определённых групп производителей.

Специфические действия государств постоянно меняются, так как постоянно меняются условия мирового рынка, баланс сил в межгосударственной системе и внутриполитическая ситуация в различных государствах. Поэтому постоянно меняется и отношение групп производителей к своему собственному государству — по мере того как меняется вероятность того, что действия государства помогут или навредят им при тех или иных конкретных изменениях. Постоянными остаются поиски могущественными производителями государственной поддержки их положения на рынке и по большей части удовлетворение государством такого «спроса». Если бы это не было константой капиталистической мир-экономики, то капиталистическая цивилизация никогда бы не добилась процветания.

Однако производители полагались не только на государство. Они также полагались на «обычай». Как я отметил, он аморфен, но вовсе не является из-за этого чем-то незначительным. Обычай включает создание рынков путём создания вкусов. Реклама и сбыт — очевидные произведения обычая, но они лишь малая часть его деятельности. Гораздо бóльшая часть — оформление целой системы ценностей, которая выкована и воспроизводится всеми институтами социализации, созданными и усовершенствованными за пятьсот лет современной истории. Именно на эту обширную структуру мы указываем, когда говорим о существовании «общества потребления». Потребность в приобретении определённых (а не иных) видов материальных объектов — общественный результат капиталистической цивилизации. Её широкий фундамент обеспечивается и рядом других институтов. На этом основании определённые группы производителей могут убеждать крупные группы покупателей купить те или иные виды продуктов. Это, несомненно, ключевой элемент в способности устанавливать относительные монополии.

Обычай действует и по-другому, более тонким и незаметным образом. Были созданы широкие языковые и культурные каналы, гарантирующие бóльшую вероятность того, что те или иные экономические группы предпоч-

тут иметь дело именно с данными группами, а не с теми, с которыми они должны были бы иметь дело по логике чистой рыночной рациональности. Настоящие экономические сделки в капиталистической мир-экономике в большей степени, чем мы это готовы признать, зависят от общинных и семейных связей, хороших отношений и доверия. И хотя это уменьшает трансакционные издержки, а следовательно, является рациональным с точки зрения рынка, от чисто рыночных соображений легко и охотно отходили, стремясь к монополизации производства, обусловленной обычаем и не определяемой рыночными соображениями.

Конкуренция, как мы отметили, всегда направлена на подрыв монополии. Однако для того чтобы сделать это, конкуренты, в свою очередь, тоже не могут полагаться только на рынок, поскольку государство и обычай исходно «модифицируют» рынок таким образом, чтобы он работал против конкурентов той или иной группы капиталистов. Потенциальные конкуренты обычно должны принимать меры прежде всего с целью изменить и государственную политику, и обычай. Они делали это, используя одну группу государств против другой, создавая внутри государств политические коалиции с целью изменения государственной политики или действуя в социальной сфере так, чтобы изменить социальные определения обычного и ожидаемого поведения, иногда меняя непосредственные вкусовые предпочтения, а иногда атакуя более глубокие ценностные основы.

Таким образом, политика накопления — это постоянная битва, которая ведёт к подрыву монополий, гарантировавших всеохватывающую экспансию мир-экономики; этот регулярный подрыв монополий, сколь медленным бы он ни был, и эта постоянно растущая конкуренция вели к уменьшению прибыли и длительным стагнациям, которые мы называем кондратьевскими Б-фазами. Каждый раз, когда начинается такая стагнация, система выходит из равновесия. Чтобы система возобновила свой рост, а следовательно, свою способность обеспечивать бесконечное накопление капитала, необходимы определённые регулирующие меры.

Возможны три стандартных способа регуляции; все они работают на увеличение общих уровней прибыли и, следовательно, на обеспечение основы возобновления роста мир-экономики. Можно стремиться снизить издержки производства конкурентных продуктов. Можно стремиться найти новых покупателей конкурентных продуктов. Можно найти для производства новые продукты, которые будут относительно монополизированы, но в то же время будут иметь значительный по объёму рынок. Все эти три способа регулирования применялись каждый раз, когда происходило уменьшение прибыли на глобальном уровне.

Один из способов снижения издержек производства — уменьшение стоимости вложений. Однако последнее, увеличивая прибыли для одного про-

изводителя, может уменьшить их для другого. В мировом масштабе это едва ли многое изменит. Более эффективным способом снижения издержек производства является снижение издержек на рабочую силу — путём дальнейшей механизации, изменения закона или обычая, снижения реальной зарплаты или географического перемещения производства в зоны более низкой стоимости рабочей силы. Эта тактика работает, она действительно снижает стоимость рабочей силы.

Тем не менее эта тактика противоречит другому способу увеличения если не норм прибыли, то самих прибылей. Речь идёт об увеличении эффективного спроса. Чтобы эффективный спрос увеличился, мировой абсолютный уровень вознаграждения за вложение трудовых усилий должен повышаться, а не понижаться. Как можно примирить два эти императива? Исторически существует лишь один способ — разъединить их географически, в пространстве. Всякий раз, когда в более благополучных регионах мир-системы предпринимались политические шаги с целью каким-то образом увеличить эффективный спрос (увеличение уровня зарплаты и социальных выплат, или контролируемого государством перераспределения), в других регионах мир-системы предпринимались шаги для увеличения числа низкооплачиваемых производителей. Последнее принимало две основные формы: 1) превращение сельских, сельскохозяйственных работников в частично работающих по найму в городе (отходники и т.п.) рабочих; 2) расширение границ мир-экономики с целью включения в мировую рабочую силу народов, которые до этого были заняты исключительно в сельском хозяйстве и производство которых было направлено главным образом на удовлетворение их собственных потребностей.

Третьим и наиболее разрекламированным способом восстановления нормы прибыли являются, конечно же, технические изменения, т.е. создание новых так называемых ведущих продуктов, способных стать локусом монополизированных высокоприбыльных операций. Это тоже требует значительного государственного вмешательства и реконструкции «обычая» для обеспечения монополизации. Без этого усилия творческих предпринимателей скорее всего окажутся мертворождёнными.

Итак, перед нами такая модель накопления, для которой характерны повторяющийся тип (*pattern*) монополизации, ведущий к сокращению прибыли, и восстановление уровня прибыли (и, таким образом, равновесия) посредством противодействующих мер.

Вопрос, однако, в том, есть ли внутренние ограничения у этого процесса адаптивной саморегуляции. Вероятно, такие ограничения есть, и находятся они не в сфере постоянных технических нововведений, хотя эти новые продукты могут вести к нарушению экологического равновесия и истощению биосферы. Их можно найти в сфере растущего эффективного спроса,

так как это требует политического действия, которое в долгосрочной перспективе тоже подрывает прибыльность, но иным образом. Это — следующая дилемма, которую мы будем анализировать.

Именно в первом механизме регулирования — в увеличении низкооплачиваемого сектора наёмного труда — обнаруживается самое серьёзное ограничение из трёх, поскольку у этого процесса существуют два имманентных ему предела: похоже, исчерпан лимит новых зон, которые можно включить в мир-экономику; в ближайшее время будет исчерпан резерв сельской рабочей силы, которую можно превратить в частично работающих по найму в городе. Можно ли заменить сельских рабочих резервной армией городских маргиналов (очень быстро растущий сегмент мирового населения)? Вероятно, да, но городские маргиналы — гораздо бóльшая угроза легитимации государств, чем рабочие из деревни.

Ясно, что дилеммы накопления ведут нас непосредственно к дилеммам легитимации политических институтов, которые, возможно, в ещё большей степени являются ахиллесовой пятой капиталистической цивилизации.

Дилемма политической легитимации

Дилемма легитимации капиталистической цивилизации является очевидной. Все исторические системы выживают путём вознаграждения кадров системы. Всем известным историческим системам приходилось также держать в узде материально и социально плохо вознаграждаемые большие массы населения. Обычно это достигалось сочетанием силы и веры — веры в святость правителей в сочетании с убеждением в неизбежности иерархии.

В течение нескольких веков (грубо говоря, между концом XV и концом XVIII в.) хозяева капиталистической цивилизации полагали, что могут использовать прежний способ легитимации. Это был период, когда средством строительства централизованных государств были абсолютные монархии и межгосударственная система. Именно в этот период сформировались группы победителей и установилась иерархия государств в межгосударственной системе. Кадрам системы предлагалось вознаграждение за тесный союз с государственными структурами-победителями. Мы уже видели, насколько важной для предпринимателей была поддержка со стороны сильных государственных структур. Эти государства получали поддержку кадров.

Однако капиталистическая цивилизация, как показали многие исследования последних 150 лет, подрывала те системы представлений, которые обеспечивали молчаливое согласие большей части населения. Сочетание сциентизма (связанного с требованиями технических нововведений), бюрократизации государственных структур (необходимой для эффективности процесса накопле-

ния) и систематической мобильности (значительных сегментов населения для удовлетворения растущих нужд капиталистической производственной деятельности в рабочей силе) — всё это требовало серьёзнейшего обновления политической культуры. Катализатором этого обновления стала французская революция. Именно она сделала концепцию суверенитета народа новым моральным оправданием политической системы исторического капитализма.

С этого момента дилемма изменилась и стала звучать следующим образом: как продолжать вознаграждение кадров и в то же время каким-то образом обеспечивать лояльность подавляющего большинства населения, которое теоретически стало считаться источником легитимности? В XIX в. эта дилемма была сформулирована так: как включить и рабочие классы, и кадры в структуры государств ядра капиталистической мир-экономики, которые в то время находились в Западной Европе и Северной Америке? Дилемма заключалась в том, что (с учётом характерного для того времени уровня абсолютной прибавочной стоимости) если вознаграждение рабочих классов было слишком высоким, то это серьёзно задевало вознаграждение кадров. Здесь мы имеем дело с так называемой классовой борьбой — борьбой, которая исторически по сути успешно сдерживалась.

Способ примирения обещания всё возрастающего вознаграждения кадров системы с требованиями рабочих классов *quid pro quo* за свою лояльность государству заключался в том, что последним предложили маленький кусочек пирога. Однако предложенного было ровно столько, чтобы не поставить под угрозу процесс накопления капитала. Более того, оно, возможно, даже увеличило накопление путём расширения мирового эффективного спроса. Однако это предложение сочеталось с надеждой, что маленький кусочек пирога со временем — с расширением накопления капитала — увеличится.

Выбор был сделан в пользу регулирования, и это решило проблему в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе это усугубило проблему, так как создало непрерывное давление с целью реализации надежды путём увеличения доли рабочих классов. Тем не менее в XIX в. регулировочный механизм работал удивительно хорошо. В это время рабочим классам стран ядра предложили два пути увеличения вознаграждения: 1) политическое участие в выборах, т.е. медленное, но постоянное расширение избирательного права; 2) государственное перераспределение, т.е. медленное, но постоянное расширение социального законодательства и социальных выплат — государство всеобщего благосостояния (*welfare state*). Наряду с этим развивались иные, чем господствующая идеология либерализма, гарантии увеличения доли социального пирога для рабочих — предположительно альтернативная идеология социализма.

К 1914 г. мы видим результаты: рабочие классы в странах ядра хорошо интегрировались в свои государства, стали и патриотами, и реформистами.

Всё это, однако, по сути не лишало кадры возможности продолжать значительно увеличивать свои доходы, поскольку процесс в целом протекал в рамках широкомасштабной экспансии общего всемирного накопления и значительно возросшей эксплуатации той части мира, которую сегодня мы называем Югом.

Первая мировая война ослабила политическую власть стран ядра над Югом. Теперь решающей для стабильного функционирования мир-системы стала политическая интеграция в неё его населения. Дилемма политической легитимации, возникшая и отчасти решённая в XIX в. в государствах ядра, в XX в. была повторена в мировом масштабе. Вопрос по-прежнему заключался в том, как обеспечить кадрам всё большее вознаграждение и в то же время предложить массам (теперь — всего мира) маленький кусочек пирога и реформистскую надежду. Решением этой проблемы стало то, что мы называем вильсонизмом, который предложил повторить в мировом масштабе сделанное ранее в государствах ядра. Вильсонизм нашел аналогию избирательному праву в виде национального самоопределения (политического равенства всех государств в межгосударственных структурах, аналогичного политическому равенству всех граждан в государстве). Вильсонизм предложил также аналог социального законодательства и государства всеобщего благосостояния в концепции экономического развития слаборазвитых государств — помощь с целью развития (нечто вроде государства всеобщего благосостояния на мировом уровне).

Сначала казалось, что этот способ регуляции тоже хорош. Его кульминацией стали политическая деколонизация и приход к власти в 1945–1965 гг. национально-освободительного движения во всём Третьем мире. Однако в отличие от форм регуляции XIX в., таковые XX в. вошли в противоречие с дальнейшей географической экспансией капиталистической мир-экономики: пределы того, что могло быть предложено в мировом перераспределении без серьёзного отрицательного воздействия на ту часть прибавочной стоимости, которая предназначалась кадрам системы, были достигнуты примерно к 1970 г. С тех пор начинается отступление вильсонизма. Для обычного циклического спада мир-экономики (стагнации мировой экономики), в котором мы с тех пор находимся, характерны все типичные процессы регулирования, проанализированные выше под углом дилеммы накопления. Однако способность мир-системы к такой саморегуляции, которая позволит сохранить легитимность нации-государства, уменьшается.

Поэтому в 1970-х и 1980-х годах наблюдается нарастание процесса политического коллапса национально-освободительного движения на Юге, коммунистических партий в социалистическом блоке и даже кейнсианства/социал-демократии в странах ядра. Этот упадок обусловлен тем, что движения, которые прежде, после века борьбы, фактически пришли к политической

власти, теперь утратили поддержку масс. Одновременно с эти были оставлены реформистские надежды. Так была устранена одна из скреп системы государств, а также, по сути, их массовая легитимация. Однако если государства более не являются легитимными, то они утрачивают и способность сдерживать политическую борьбу. С точки зрения капиталистической мир-системы коллапс левой стратегии — бедствие: будучи далекой от революционности, классическая левая стратегия входила в состав цементирующего раствора капиталистической цивилизации.

Дилемма геокультурной повестки дня

Капиталистическая цивилизация построена также вокруг геокультурной темы, которая никогда прежде не была доминирующей: центральная роль индивида в качестве так называемого субъекта истории. Индивидуализм представляет собой дилемму, поскольку является обоюдоострым мечом. Подчеркивая индивидуальную инициативу, капиталистическая цивилизация привязала личную выгоду и к процветанию, и к сохранению системы. Прометеевский миф поощрял, вознаграждал и узаконивал усилия индивидов — не просто предпринимателей, но и представителей рабочих классов — в целях максимального увеличения эффективности и освобождения силы человеческого воображения. На самом деле прометеевский миф сделал нечто большее. Причём ему редко воздают должное за это. Речь идет о его вкладе в изобретение понятия (*concept*) формальных политических организаций индивидов, включая создание и широкую экспансию, как это ни парадоксально, самих антисистемных движений. Таким образом, даже антииндивидуалистское социальное сознание основывалось на сумме индивидуальных энергий и на индивидуальной вере в эффективность такого социального действия. И, как мы видели, результатом была социально сконструированная надежда, которая, в свою очередь, служила ключевым средством сохранения мир-системы.

Однако у индивидуализма есть и другое лицо, благодаря которому и существует дилемма геокультурной повестки дня, поскольку индивидуализм поощряет борьбу всех против всех в особо жестокой форме, так как он узаконивает эту борьбу не только для малочисленной элиты, но и для всего человечества. Более того, борьба эта логически не имеет пределов. Действительно, для значительной части философской и социально-научной мысли современности опасность чистого эгоизма была одной из главный проблем.

Для капиталистической цивилизации с самого начала серьёзной проблемой было примирение положительных и отрицательных последствий превращения индивида в субъекта истории. Конечно же, консервативные идео-

логи, как и социалистические теоретики, всегда предупреждали о надвигающемся бедствии, хотя на практике ни те, ни другие (ни движения, вдохновляемые ими) не желали длительной борьбы против этой геокультурной повестки дня. Вместо этого они приспосабливались к ней и стремились использовать в своих целях.

Тогда какими же механизмами сдерживалось указанное противоречие, связанное с индивидуализмом? Оно сдерживалось путём одновременного акцентирования двух противоположных тем, следования им и в то же время зигзагообразного движения между ними. Двумя акцентами, или практиками, были, с одной стороны, универсализм, а с другой стороны — расизм-сексизм. Оба они — наиболее квинтэссенциальные продукты капиталистической цивилизации. Кажущиеся противоположностями, на самом деле они являются вполне взаимодополняющими. Именно в странную и хрупкую связь между ними капиталистическая цивилизация и поместила дилемму геокультурной повестки дня под названием «индивид как субъект истории».

В чем суть практики универсализма? Теоретически она предполагает моральную гомогенизацию человечества. Она представляет собой утверждение не только того, что все люди наделены одинаковыми человеческими правами, но и того, что есть такие универсалии человеческого поведения, которые мы можем устанавливать и анализировать. Поэтому с точки зрения универсализма подозрительны любые претензии тех или иных групп на привилегированное положение по сравнению с другими и на превосходство.

Практики расизма и сексизма прямо противоположны. Согласно им, люди не наделены одинаковыми человеческими правами, но, скорее, выстроены в биологически или культурно определённую иерархию. Эта иерархия определяет их права и привилегии, их место в коллективном трудовом процессе. Она объясняется и оправдывается тем фактом, что некоторые группы по своей сути отличаются от других и превосходят их.

Самым необычным фактом капиталистической цивилизации за 500 лет её существования является то, что вера в универсализм и вера в расизм-сексизм набирали силу одновременно, что их реализация на практике была почти что единым процессом; по сути речь должна идти о тандеме. Происходило так, что рост одной практики вызывал рост другой. Если мы вернемся к двум ликам индивидуализма — индивидуализм как стимул энергии, инициативы и воображения и индивидуализм как бесконечная борьба всех против всех, — то можем увидеть, как две практики (универсализм и расизм-сексизм) появляются из нарушающего равновесие противоречия, содержащегося в геокультурной повестке-программе, и ограничивают его.

С одной стороны, универсализм ведёт к заключению, что противоречие не является реальным, поскольку бесконечная борьба — это фактически стимул для инициативы, и следовательно, любая возникающая привилегия оп-

равдана как следствие более высоких качеств в ситуации, где все имеют равные возможности пытаться. Этот аргумент в XX в. был кодифицирован в качестве меритократии, согласно которой те, кто в процессе капиталистического накопления оказывается наверху, заслужили своё положение.

С другой стороны, расизм-сексизм выполняет функцию объяснения, почему те, кто находится на дне, оказались там: они менее инициативны, даже когда имеют возможности; они проиграли в бесконечной борьбе всех против всех, потому что по своей сути (если не биологически, то по крайней мере культурно) неспособны на успех. Возвращаясь к теме балансового отчёта, мы можем сказать: универсализм становится объяснением и оправданием его положительной (*improved*) версии для меньшинства, а расизм-сексизм — объяснением и оправданием отрицательной, худшей версии, адресат которой — большинство.

Способ, с помощью которого две эти практики сдерживают друг друга, всегда подразумевал возможность использовать одну против другой. Расизм-сексизм использовался, чтобы помешать универсализму продвинуться слишком далеко в направлении эгалитаризма. Универсализм использовался, чтобы помешать расизму-сексизму продвинуться слишком далеко в направлении кастовой системы, которая стала бы препятствовать мобильности рабочей силы, столь необходимой для процесса накопления. Именно это имеется в виду под зигзагообразным процессом.

Ограничивает этот зигзаг повышение требований к государствам в сочетании со свойственной им невозможностью удовлетворить их — напряжённая дилемма накопления, ведущая к напряжённой дилемме политической легитимации. В результате появлялись ещё бóльшие требования реализовать эгалитарный потенциал универсализма в сочетании с ещё бóльшими требованиями реализовать неэгалитарный, кастового типа потенциал расизма и сексизма.

Однако сегодня происходит следующее. Две практики — универсализма и расизма-сексизма, — отнюдь не сдерживая друг друга, заставляют себя всё больше взаимоудаляться. Мы видим это в вышедших на поверхность спорах о культурном содержании наших образовательных систем, которые являются одним из центральных поставщиков геокультурной программы. Если школам следует быть универсалистскими, то является ли это универсализмом одной отдельной группы — мирового высшего слоя? Однако если им следует быть «мультикультурными», не способствуем ли мы культурному разъединению, которое образовательная система в теории призвана преодолеть? Если индивид — субъект истории, не следует ли нам обеспечивать социальное продвижение на основе индивидуальных достижений (*merit*)? Однако если индивид — субъект истории, не должны ли мы вернуть индивидам из более низких слоёв возможности, которых они были социально лишены,

чтобы позволить им добиться объективно лучших результатов? Чем дальше, тем больше этот спор становится диалогом глухих, в котором обе стороны всё более мобилизуются в политическом и культурном планах.

Кризис исторической системы

Попробуем соединить три части вместе. Капиталистическая цивилизация создавалась и развивалась в противоречиях. В этом нет ничего необычного: все исторические системы имеют противоречия. В случае с историческим капитализмом налицо три основных противоречия, которые я попытался вкратце описать. Каждое противоречие исторически сдерживается регулирующими механизмами. Однако в каждом случае эти механизмы стали испытывать сильное напряжение. Мы можем сказать, что кумуляция этих напряжений означает приближение современной мир-системы как таковой к системному кризису, или, возможно, она уже вступила в него.

Системный кризис можно описать как ситуацию, в которой система достигла точки бифуркации или первой из следующих друг за другом подобных точек. Когда системы сильно удаляются от точек равновесия, они достигают точек бифуркации, в которых становятся возможными многочисленные (в противоположность единственному) решения проблемы нестабильности. В этой точке система обладает тем, что можно назвать выбором возможностей. Этот выбор зависит как от истории системы, так и от непосредственной силы элементов, внешних по отношению к внутренней логике системы. Эти внешние элементы суть то, что мы с точки зрения системы называем «шумом». Когда системы функционируют нормально, «шум» игнорируется. Однако в далеких от равновесия ситуациях роль случайных вариаций в «шуме» существенно возрастает из-за значительного уменьшения равновесия. Вследствие этого система, действующая теперь хаотически, будет совершенно радикально реконструироваться теми способами, которые, будучи внутренне непредсказуемы, ведут тем не менее к новым формам порядка. В таких условиях могут быть и обычно бывают не одна, а каскад бифуркаций, пока не установится новая система, т.е. новая структура долгосрочного относительного равновесия и пока мы опять не окажемся в ситуации детерминистской стабильности. Новая возникшая система, вероятно, является более сложной; в любом случае, она отлична от старой системы.

Если мы применим эту общую схему, применимую ко всем системам — от физико-химических и биологических до социальных, — к нашей непосредственной тематике, т.е. к будущим перспективам капиталистической цивилизации, мы можем резюмировать ситуацию следующим образом. Капиталистическая мир-экономика является относительно стабильной истори-

ческой системой, т.е. функционирующей в течение 500 лет по логике определённых правил. Мы попытались оценить её «балансовый отчёт», а затем указать на трудности в процессах саморегуляции, необходимых для сохранения её равновесия. Мы предложили причины, по которым она достигает или достигла точек бифуркации. Кажется, что мы находимся посреди процесса последовательных бифуркаций, которые могут продлиться ещё около 50 лет. Мы можем быть уверены, что возникнет новый исторический порядок. Мы не можем быть уверены в том, каким он будет.

Конкретным символом первой бифуркации можно считать результат мировой революции 1968 г., продолжавшейся до так называемого падения коммунистических порядков в 1989 г., которые можно считать второй бифуркацией. В многочисленных локальных проявлениях мировая революция 1968 г. была, конечно же, восстанием против капиталистической цивилизации и её непосредственной главной опорной структуры — Соединённых Штатов, с которыми СССР, считалось, вступил в тайный сговор. Однако в то же время это было и отрицанием всех старых антисистемных движений — социал-демократов на Западе, коммунистических партий в социалистическом блоке, национально-освободительного движения в Третьем мире — как неэффективных, провальных и, хуже того, молчаливо легитимизирующих существующую мир-систему.

Революционеры 1968 г. не видели разницы между реформизмом, ценностями Просвещения и верой в государственные структуры как политические инструменты изменения. Они выступали против всех трёх. Контркультурные одежды революционеров 1968 г. были не столько утверждением индивидуализма вообще (как часто говорят), сколько специфическим утверждением одного из движений в сторону индивидуальной самореализации и специфическим отрицанием противоположного движения в сторону эгоистического потребительства.

Мировые события 1968 г. следовали типичной форме начальных бифуркаций. Колебания социальных настроений были очень сильными. События были разрывом, впервые всерьёз сломавшим широкую легитимацию государственных структур как таковых, как стабилизирующей силы капиталистической цивилизации.

Частично революционное движение было подавлено властями. Частично требования революционеров были, конечно же, удовлетворены с помощью социальной политики государств. Более часто такая политика проводилась в ядре капиталистической мир-экономики, а не на периферии. В наименьшей степени она проводилась в социалистических странах, где брежневский застой подавил требования 1968 г.

Причиной, по которой на периферии социальная политика государства играла меньшую роль, чем репрессии, было то, что мировой процесс накоп-

ления предоставил периферийным государствам меньше пространства для маневра. Все их структуры испытывали серьёзные финансовые трудности во время кондратьевской Б-фазы, и потому они были просто не в состоянии замирить протест с помощью материальных уступок. К тому же эти правительства были приведены к власти антисистемными движениями, что лишало указанные движения серьёзной возможности давления на правительственную политику.

Из-за снижения цен на нефть, проблем с долгами и ухудшающихся условий торговли эти правительства падали одно за другим пали и были вынуждены «ложиться» под МВФ (что делало их нелегитимными с национально-государственной точки зрения). Последними пали коммунистические режимы Восточной Европы, которые теперь идут по пути стран Третьего мира. Символом второй из каскада бифуркаций, таким образом, является 1989 год. Кажущийся совершенно отличным от 1968 г., фактически он развивал сходные темы: разочарование в возможностях реформистского пути к равенству в мир-системе под руководством государства.

Падение коммунистических режимов стало даже бóльшим ударом по стабильности капиталистической цивилизации, чем события 1968 г. Раньше неудачи некоторых антисистемных движений можно было оправдать тем, что они недостаточно следовали советской модели и поэтому по сути являлись слабыми. Однако когда провалилась сама советская модель, причём в результате разочарования изнутри, возможность прогрессивных постепенных социальных изменений стала казаться весьма отдаленной. Провал надежд на ленинизм на самом деле был утратой надежд на центристский либерализм. Бывшие коммунистические страны просто вернулись в категорию неядровых зон мир-системы. Особенностью этой второй бифуркации было то, что её следствием стал распад государственных структур без оптимистического (и стабилизирующего) эффекта деколонизации, как это произошло после 1918 и 1945 гг. Вильсоновский призыв к самоопределению, возможно, ещё не потерял всей своей силы, но он определённо потерял свой цвет.

Так куда же движется капиталистическая цивилизация? С одной стороны, капиталистическая мир-экономика будет равномерно идти вперёд по хорошо протоpенным дорожкам — воссоздание главных полюсов накопления — Япония (вероятно, в сотрудничестве с Соединёнными Штатами) и (Западная) Европа. Взаимодействие этих полюсов в начале XXI в. скорее всего приведет к новому крупному росту мирового производства, основанному на новых монополизированных секторах производства. Однако сокращение объёма мировой резервной рабочей силы не гарантирует поддержания этими секторами той же высокой нормы накопления, что и прежде.

С этим ростом неизбежно придет дальнейшая поляризация вознаграждений и социальных структур. Мы уже говорили о том, почему это становит-

ся чрезмерным напряжением для политической легитимации. Таким образом, мы вступаем во времена крупных беспорядков на всех уровнях — локальном, региональном и мировом, в смутное время, которое будет гораздо менее структурировано (и, следовательно, гораздо менее контролируемо), чем мировые войны XX в. между Германией и Соединёнными Штатами и последовавшие за ними национально-освободительные войны.

Острые проблемы политической легитимации, неспособность решить эту дилемму ведут к разрушению веры в прогресс, которая сдерживала (*contained*) дилемму геокультурной программы. Поскольку люди больше не считают всемогущего индивида настоящим субъектом истории, они ищут защиту в группах. Уже объявлена новая геокультурная тема — тема идентичности. При этом идентичность утверждается как очень неясное понятие «культуры» или, точнее, «культур». Однако эта новая тема всего-навсего создаёт новую дилемму геокультурной повестки дня. С одной стороны, призыв к многочисленным идентичностям — это призыв к равенству всех «культур». С другой стороны, он является призывом к партикуляризму, а следовательно, к подразумеваемой иерархии всех «культур». По мере того как люди будут испытывать влияние двух противоположных тенденций, постоянными станут переопределение, редефиниция границ групп — носителей этих «культур». Однако сама концепция «культуры» основана на предполагаемой стабильности этих границ.

Поэтому можно ожидать взрывов на всех направлениях. Те, чьи «культуры» кажутся исключёнными из системы нынешних привилегий, обратятся к трём политическим механизмам, способным предложить путь к политическому выходу из ситуации неравенства групп. Один из механизмов — культивирование несхожести (*alterity*). Второй — создание крупных политических единиц с эффективной вооруженной силой. Третий — индивидуальное нарушение культурных границ, спасение путём индивидуального «культурного» подъёма. Ни один из этих механизмов не нов, но раньше все они были подчинены реформистскому/псевдореволюционному стремлению к захвату государственной власти как пути к изменениям. Сегодня государственно ориентированная коллективная власть заменяется партикуляристской властью коллективов.

В течение ближайших 25–50 лет мы, скорее всего, будем наблюдать различные формы беспорядков на Юге и на Севере. На Юге, вероятно, больше не будет национально-освободительных движений, которые господствовали там на протяжении всего XX в. Свою историческую роль, хорошую или плохую, они сыграли, и лишь немногие считают, что эта роль ещё не сыграна до конца. Вместо них мы увидим другие движения, оформившиеся в последние два десятилетия. Я называю их «выбором Хомейни», «выбором Саддама Хусейна» и «выбором людей в лодке». С точки зрения равновесия капиталистической цивилизации каждый выбор в равной степени опасен.

«Выбор Хомейни» — это выбор радикальной несхожести, полного коллективного отказа играть по правилам мир-системы. Когда его выбирает достаточно большая группа с достаточными коллективными ресурсами, она способна бросить серьёзный вызов системному равновесию. Один-единственный случай такого выбора, возможно, поддаётся обузданию, хотя и с огромным трудом. Однако результат многочисленных одновременных взрывов крайне разрушителен.

«Выбор Саддама Хусейна» совсем другой, но тоже с трудом поддаётся контролю. Это путь к в созданию крупных и сильно военизированных государств, готовых к войне против Севера. Этот выбор нелегко осуществить, и может показаться, что после войны в Заливе Север может спокойно справиться с его последствиями. Однако не будем обманываться кажимостью. По мере того как такой выбор будет становиться политикой всё большего числа государств, легко справляться с ним будет всё труднее. И уж давайте не упускать из виду, что полного военного поражения было недостаточно, чтобы навсегда положить конец «выбору Саддама Хусейна» даже в Ираке.

Наконец, существует «выбор людей в лодке» — массовая и незаконная миграция в более богатые страны. «Людей в лодке», можно правда, с трудом, выслать назад; приезжих, однако, будет всё больше и больше. В ближайшие 25—50 лет можно ожидать широкомасштабную миграцию с Юга на Север. Двойная реальность — разрыва в материальных условиях и демографического разрыва — делает весьма невероятной эффективность любой государственной политики Севера остановить этот поток.

Что же тогда произойдет на экономически ещё процветающем Севере? Вспомните, что мы предсказывали падение эффективности государственных структур даже на Севере. Феномен «внутреннего Третьего мира» в зонах ядра капиталистической мир-экономики будет становиться всё серьёзнее по мере демографических изменений. Северная Америка имеет сегодня наибольший южный контингент. Западная Европа догоняет её. Этот феномен начинает развиваться даже в Японии, которая возвела самые крепкие на Севере юридические и культурные барьеры.

Демографические изменения, порождённые ослаблением государственных структур, в свою очередь ещё больше ослабят их. Социальный беспорядок вновь станет нормой в зонах ядра. За последние двадцать лет об этом много спорили, используя ложный ярлык «рост преступности». То, что мы увидим, на самом деле будет расширяющейся гражданской войной. Это лицо смутного времени. Борьба за обретение защиты от этого процесса уже началась. Государства не могут обеспечить её. С одной стороны, у них нет денег, с другой — легитимности. Вместо этого мы увидим расширение частных охранных армий и полицейских структур, за которыми будут стоять многочисленные группы, представляющие различные культуры, корпоративные про-

изводственные структуры, местные сообщества, религиозные организации и, конечно, преступные синдикаты. Это не следует называть анархией; скорее, это детерминистский хаос.

Где и в чём выход? Ведь из хаоса возникает новый порядок. Точно мы можем знать только одно. Капиталистическая цивилизация придёт к своему концу; её особенная (*particular*) историческая система прекратит своё существование. Кроме этого мы можем лишь наметить несколько возможных альтернативных исторических траекторий, набросав их широкими мазками, без институциональных деталей, которые абсолютно невозможно предвидеть.

В свете истории мир-системы вероятными кажутся три социальные формы (*formulae*). Одна представляет собой что-то вроде неофеодализма, который в гораздо более уравновешенной форме воспроизвёл бы события смутного времени, — время парцелляризованных суверенитетов, значительно более автаркичных режимов, локальных иерархий. Неофеодализм вполне сочетаем с сохранением (но, вероятно, не с продолжением) нынешнего относительно высокого уровня техники. Бесконечное накопление капитала более не может выполнять роль главной движущей силы такой системы, однако это, несомненно, будет неэгалитарная система. Что обеспечит её легитимность? Возможно, возвращение к вере в природные иерархии.

Вторая форма могла бы быть чем-то вроде демократического фашизма. Речь идет о кастоподобном делении мира на два слоя; верхний включал бы, возможно, пятую часть мирового населения. В этом слое могла бы существовать высокая степень эгалитарного распределения. На основе такой общности интересов подобная крупная группа могла бы держать остальные 80% в положении полностью обезоруженного трудящегося пролетариата. Гитлеровский новый мировой порядок представлял такое ви́дение мира. В прошлом он потерпел поражение, но тогда он определял себя с точки зрения и в интересах слишком узкого верхушечного слоя.

Третьей формой может быть ещё более радикальный всемирный порядок — сильно децентрализованный и высокоэгалитарный. Он кажется самым утопичным из трёх, однако его вряд ли можно исключить. Этот вид мирового порядка предвосхищён в размышлениях многих интеллектуалов прошлых веков. Возросшая политическая искушенность (*sophistication*) и технические знания, которые мы сейчас имеем, делают его достижимым, но вовсе не неизбежным. Это потребовало бы принятия определённых реальных ограничений на потребительские расходы. Однако это означает не просто социализацию бедности, так как тогда его было бы невозможно реализовать.

Существуют ли другие возможности? Конечно, существуют. Важно признать, что все три исторических варианта развития реально существуют, и выбор будет зависеть от нашего коллективного мирового поведения в ближайшие 50 лет. Какой бы выбор ни будет сделан, это не будет концом исто-

рии, а в действительном смысле её началом. Человеческий социальный мир ещё очень молод с точки зрения космологического времени.

О чём мы будем думать в 2050 или 2100 г., оглядываясь назад на капиталистическую цивилизацию? Возможно, мы будем совершенно несправедливы. Какой бы вариант новой системы мы ни выбрали, мы можем почувствовать необходимость в очернении только что ушедшей в прошлое системы — капиталистической цивилизации. Мы станем подчеркивать её пороки и игнорировать все её достижения. К 3000 г. мы, возможно, станем вспоминать её как волнующий опыт в человеческой истории — либо как исключительный, представляющий собой отклонение и, возможно, исторически важный момент очень долгого перехода к более эгалитарному миру; либо как внутренне нестабильную форму человеческой эксплуатации, после которой мир вернулся к более стабильным формам. *Sic transit gloria mundi.*

Научное издание

Серия МИР. ХАОС. ПОРЯДОК

Иммануил ВАЛЛЕРСТАЙН

**ИСТОРИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ.
КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ**

**Перевод с английского К.А Фурсова
С предисловием А.И. Фурсова**

Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2008. 176 с.
при участии ИП Михайлова К.Г.

Редактор издательства К.Г. Михайлов
Оригинал-макет: Т.А. Горлина
Корректор Н.И. Кузьменко

Для заявок:
123100 Москва а/я 16
эл. почта: mikhailov2000@gmail.com
см. также http://avtor-kmk.ru

Отпечатано в ГУП ППП “Типография “Наука” АИЦ РАН
121099 Москва, Шубинский пер., 6.
Подписано в печать 15.09.2009. Заказ № 1510
Формат 70x100/16. Объём 11 печ.л. Бум. офсетная. Тираж 1500 экз.